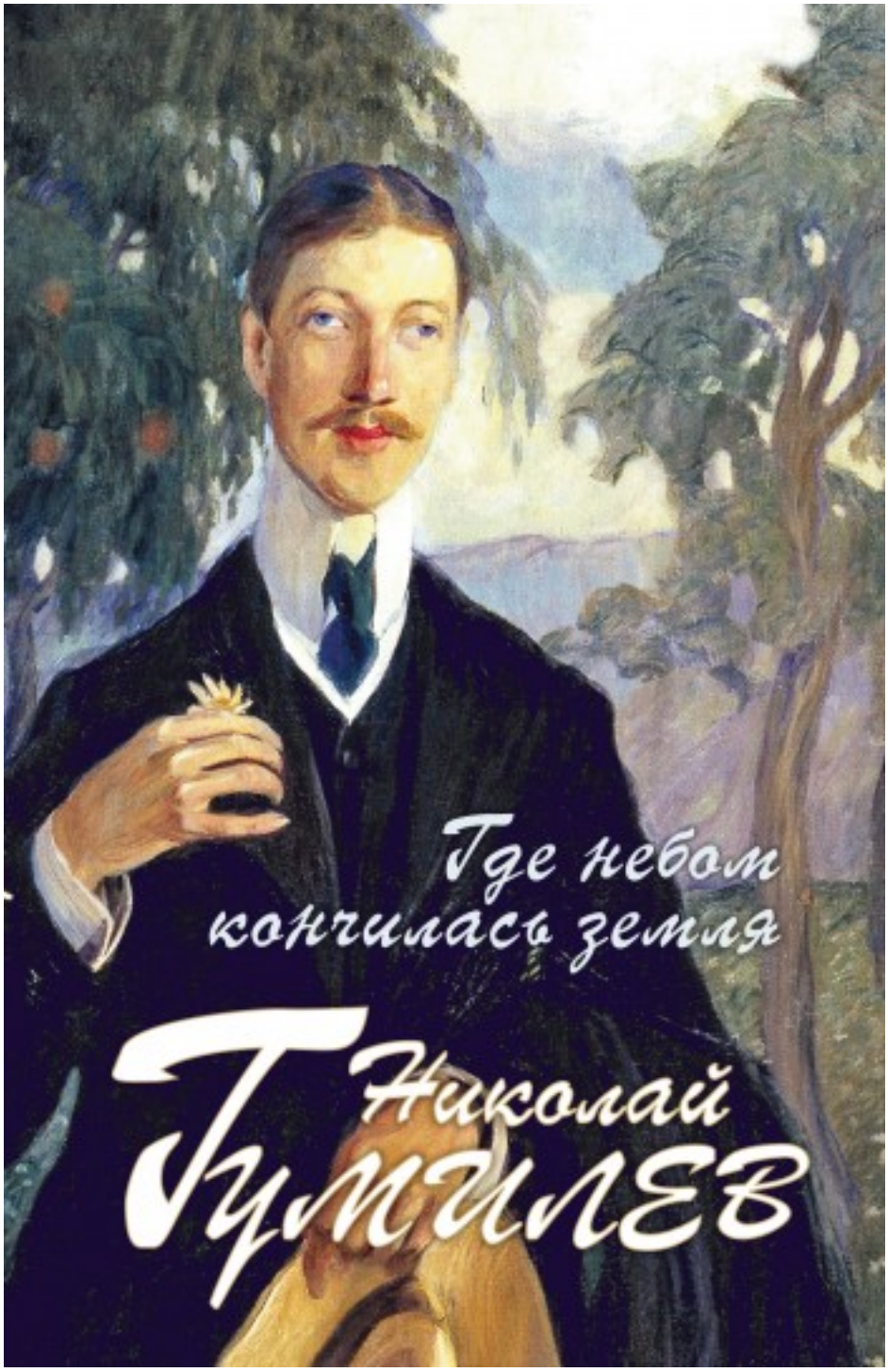

Где небом кончилась земля
Николай Гумилев

Николай Степанович Гумилев

Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=278872
Гумилев Н.С. Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания : Эксмо; Москва; 2010
ISBN 978-5-699-32342-5

Аннотация

«Там длинные пламени реют, как два золотые крыла…»

Читателям этой книги представляется фантастическая возможность – преодолеть пространство и время, постоять на бастионах Кронштадта, просидеть до рассвета в кабаре «Бродячая собака», стать свидетелем африканской охоты и увидеть собственными глазами атаку кавалеристов, услышать любовные признания и ощутить почти неуловимый запах духов, которыми пользовались женщины девятьсот десятых годов. И везде рядом с ними будет Николай Гумилев, знаменитый поэт, бесстрашный воин, человек чести. Стихи его в этой биографической композиции звучат иначе, нежели в толстых однотомниках и собраниях сочинений, они звучат так, как звучали в прижизненных сборниках поэта, еще не утратив связей с событиями, их породившими.

Содержание

«К таким нежданным и певучим бредням...» 4
Из сборника «Путь конквистадоров» 28
* * * 28
* * * 29
Песнь Заратустры 30
CREDO 31
Греза ночная и темная 32
Песня о певце и короле 33
Рассказ девушки 35
Дева солнца 37
I 37
II 38
Осенняя песня 41
* * * 42
* * * 44
* * * 45
* * * 47
Сказка о королях 50
* * * 55
* * * 56
Людям настоящего 57
Людям будущего 58
Пророки 59
Русалка 60
На мотивы Грига 61
Осень 62
* * * 63
* * * 64
Из сборника «Романтические цветы» 95
* * * 95
Конец ознакомительного фрагмента. 96

Николай Степанович Гумилев
Где небом кончилась земля: Биография. Стихи. Воспоминания

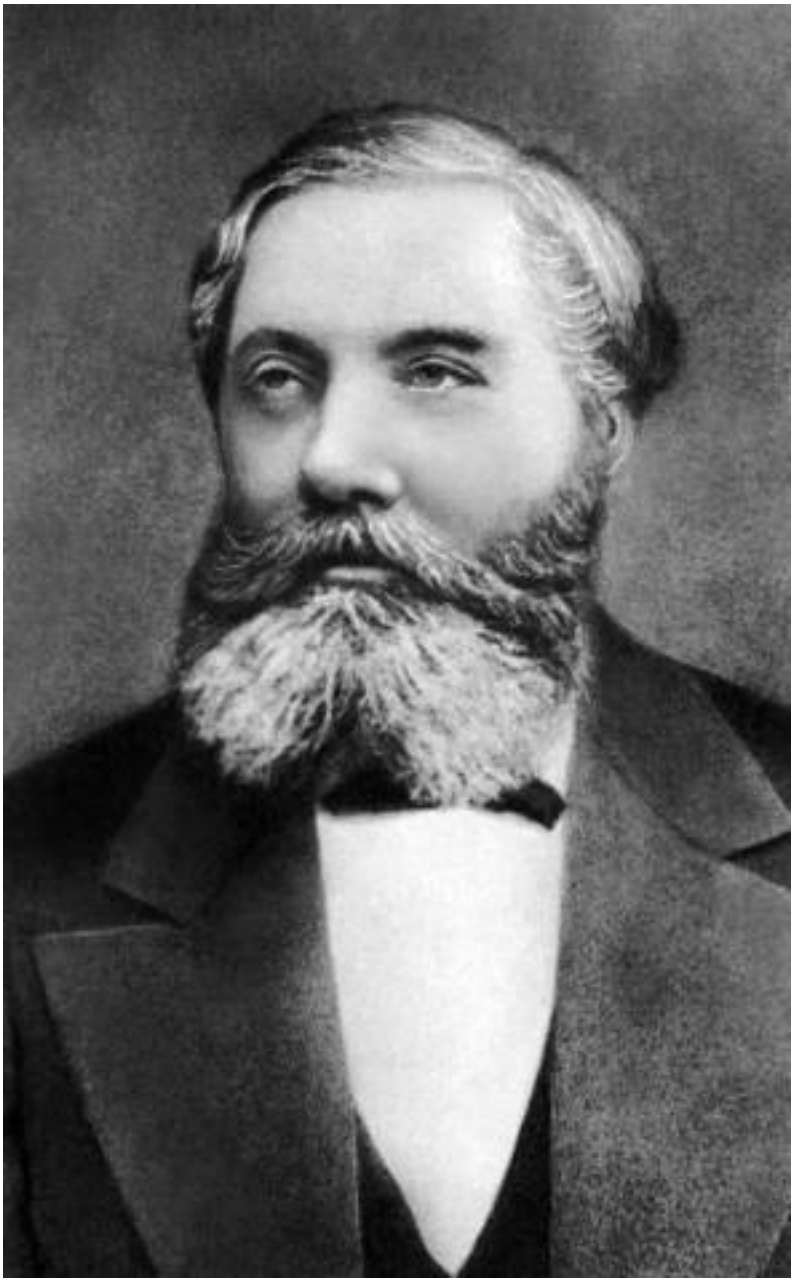
«К таким нежданным и певучим бредням...»

Для русских литераторов псевдонимом зачастую становилась их собственная фамилия. Достаточно было передвинуть в ту или иную сторону ударение (иногда, в случаях более редких, чуть-чуть изменялась и форма самой фамилии). Иванов с ударением на последнем слоге превращался в Иванова с ударением на слоге первом, Заболотский – тут, напротив, ударение изначально осеняло первый слог – делался Заболоцким. После такого преображения надлежало сделать самое трудное – удержать псевдоним, для чего следовало, как минимум, самому удержаться в пределах литературы. Особо счастливым или же оборотистым удавалось удержаться надолго.

Фамилия Гумилева в первоначальном своем, родовом звучании имела ударение на слоге первом, поскольку относилась к фамилиям семинарским, по крайне мере, такие фамилии были распространены у представителей духовного сословия. Так оно и есть. Прадед Гумилева по отцовской линии был священником, дед – дьячком и сыном дьякона. Но сам Гумилев, то ли стесняясь такого происхождения, то ли отчасти презирая его, фамилию свою иначе как с ударением на слоге последнем, отчего исконное «е» превратилось в «ё», не принимал. По воспоминаниям С. Маковского, человека вполне компетентного, хотя и не очевидца некоторых описываемых им событий, еще в гимназии Гумилев на фамилию свою с ударением на первом слоге не откликался, с места не вставал. Добавлю, что для гимназиста это было явным нарушением дисциплины.

Странно, что и в семье о некоторых подробностях, связанных с происхождением, старались забыть. И потому в воспоминаниях А. Гумилевой, жены старшего брата поэта, приведены сведения частью неверные. Впрочем, это касается лишь фигуры деда, остальное достоверно вполне: «Дедушка поэта, Яков Степанович Гумилев, был уроженец Рязанской губернии, владелец небольшого имения, в котором он и хозяйничал. Скончался он, оставив жену с шестью малолетними детьми. Степан Яковлевич, отец поэта, был старшим сыном в этой многочисленной семье. Он окончил с отличием гимназию в Рязани и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Обладая большими способностями и к тому же сильным характером и упорством, он скоро добился стипендии. Чтобы обеспечить существование семьи, он давал уроки, пересылая заработанные деньги матери. По окончании университета С. Я. поступил в морское ведомство и как морской доктор совершал не раз кругосветные плавания. О своих переживаниях в путешествиях и сопряженных с ними

приключениях он часто рассказывал, и думаю, что это оказало большое влияние на пылкую фантазию будущего поэта. Будучи совсем молодым, С. Я. женился на болезненной девушке, которая вскоре скончалась, оставив ему трехлетнюю девочку Александру. Вторым браком С. Я. женился на сестре адмирала Л. И. Львова, Анне Ивановне Львовой. Хотя разница лет была и большая – С. Я. было 45 лет, а А.И. 22 года, – но брак был счастливый. После свадьбы молодые поселились в Кронштадте».



С. Я. Гумилев

А. И. Гумилева

О матери Гумилева та же мемуаристка рассказывает: «Анна Ивановна, мать поэта, была родом из старинной дворянской семьи. Родители ее были богатые помещики. Свое детство, юность и молодость А. И. провела в родовом гнезде Слепневе Тверской губ[ернии]. А. И. была хороша собой – высокого роста, худощавая, с красивым овалом лица, правильными чертами и большими, добрыми глазами; очень хорошо воспитанная и очень начитанная. Характера приятного; всегда всем довольная, уравновешенная, спокойная. Спокойствие и выдержанность перешли и к сыновьям, в особенности к Коле. Вскоре после выхода замуж А. И. почувствовала себя матерью, и ожидание ребенка преисполнило ее чувством радости. Ее мечтой было иметь первым ребенком сына, а потом девочку. Желание ее наполовину исполнилось, родился сын Димитрий. Через полтора года Бог дал ей и второго ребенка. Мечтая о девочке, А. И. приготовила все приданое для малютки в розовых тонах, но на этот раз ее ожидание было обмануто – родился второй сын Николай, будущий поэт».

Николай Гумилев родился 3 апреля 1886 года. Согласно семейным преданиям, ночь, когда он родился, была бурной, и потому старая нянька предсказала новорожденному бур-

ную жизнь. Как говорит А. Гумилева, разумеется, тоже знающая этот период лишь по семейным преданиям, был ребенок «вялый, тихий, задумчивый, но физически здоровый» (сведения эти тоже можно подвергнуть сомнению, П. Лукницкий, посвятивший жизнь изучению всего, что связано с Гумилевым, собиравший как письменные, так и устные свидетельства о нем, утверждал, что до десяти лет был ребенок хилым, слабым и страдал от головных болей). Любил он слушать сказки. Детей Гумилевы воспитывали в строгих принципах православия. Мать часто заходила в церковь, чтобы помолиться и поставить свечку, ребенку это нравилось, он ходил в церковь вместе с матерью. Все это похоже на правду, по крайней мере, подвергать сомнению слова мемуаристки нет необходимости, но вот утверждение, что Гумилев был человеком глубоко верующим, религиозным до конца своих дней, следует, по крайней мере, уточнить.

Кронштадт. Открытка, 1900-е гг.

Царское Село. Открытка, 1900-е гг.

В. Ходасевич в статье, посвященной Гумилеву и Блоку, сравнивая двух этих столь разных людей, живших рядом, смотревших на жизнь и литературу абсолютно несхоже и окончивших свои дни почти одновременно, отмечает: «Блок был мистик, поклонник Прекрасной Дамы, – и писал кощунственные стихи не только о ней. Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видал людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия». Ирония вполне уместна, тогда как в уточнении необходимости нет, читавший стихи Гумилева согласится, что какая бы то ни было религиозность в них отсутствует, несмотря на упоминания небесного воинства, райских кущ и тому подобных атрибутов.

Впрочем, детство Гумилева, поскольку речь тут идет о детских годах, проходило уже не в Кронштадте. Вскоре после рождения сына Степан Яковлевич Гумилев (кстати, правильная форма его имени отнюдь не Степан, а Стефан) был по болезни отставлен от службы. И 15 мая Гумилевы переехали в Царское Село.

Что такое Царское Село в те времена, рассказывает один из царскоселов, Д. Кленовский: «В «Городе Муз» – Царском Селе – долго, до самой революции, существовали бок о бок два совершенно несхожих мира. Один из них – торжественный мир пышных дворцов и огромных парков с прудами, лебедями, статуями, павильонами, мир, в котором, вопреки всякому здравому художественному смыслу, так гармонично уживались рядом классические колоннады, турецкие минареты и китайские пагоды. И второй мир (тут же, за углом!) – мир пыльного летом и заснеженного зимой полупровинциального гарнизонного городка с одноэтажными деревянными домиками за резными палисадниками, с марширующими в баню с вениками под мышкой гусарами в пешем строю, с белым собором на пустынной площади и со столь же пустынным гостиным двором, где единственная в городе книжная лавка Митрофанова торговала в сущности только раз в году – в августе, в день открытия местных учебных заведений. Эти два мира очень ладно уживались рядом, причем второй, старея, понемногу «врастал» в первый. И когда высокая белая гусарская лошадь, по старости лет «переведенная» из гвардии в извозчичьи оглобли, с неожиданной резвостью тряхнув стариной, лихо подкатывала к чугунным воротам парка – прыжок на столетье назад был как-то

совершенно незаметен, как незаметно было потом возвращение в обыденность провинциальной (несмотря на близость столицы) современности».

Место это походило на хрестоматию по русской истории, приметы одной эпохи сосуществовали с приметами других эпох, по-своему интересных и славных. Поэт И.Ф. Анненский, о котором еще будет речь, недаром посвятил Царскому Селу едва ли не лучшие свои стихи.

…Там нимфа с таицкой водой,
Водой, которой не разлиться,
Там стала лебедем Фелица
И бронзой Пушкин молодой.

Там воды зыблются светло
И гордо царствуют березы,
Там были розы, были розы,
Пускай в поток их унесло.
Там всё, что навсегда ушло,
Чтоб навевать сиреням грезы.
. . . . . .
Скажите: «Царское Село» —
И улыбнемся мы сквозь слезы.

С этим местом связаны у Гумилева одни из первых воспоминаний. Здесь он начал складывать стихи. Некоторые строки сохранились в памяти близких.

Живала Ниагара
Близ озера Дели,
Любовью к Ниагаре
Вожди все летели…

Так писал шестилетний Гумилев. Мать собирала стихи и хранила их в особой шкатулке.

В 1893 году поступил он в подготовительный класс Царскосельской гимназии, но очень скоро заболел. Бронхит для слабого мальчика оказался болезнью вполне серьезной. Родителям пришлось забрать сына из гимназии. Теперь он занимался дома, учил его студент физико-математического отделения Б. Газалов, а когда на следующий год семья Гумилевых переехала в Петербург, он же готовил своего ученика к вступительным экзаменам в гимназию Гуревича.

Хотя гимназия была очень известной и учили там, по-видимому, хорошо, Гумилева школьный курс не особо интересовал. Учился он скверно, из всех наук интерес вызывали только зоология и география. Дома появились домашние животные: мыши, морские свинки, птицы.

Небольшая усадьба в Поповке, купленная в 1890 году, стала любимым местом отдыха. Здесь дети проводили поначалу только лето, а затем и зимние каникулы. О детских годах вспоминал Гумилев и будучи взрослым: «Во сне – не странно ли? – я постоянно вижу себя ребенком. И утром, в те короткие таинственные минуты между своим пробуждением, когда сознание плавает в каком-то сиянии, я чувствую, что сейчас, сейчас в моих ушах зазвучат строки новых стихов…

Хорошо тоже вспоминать свое детство вслух.

Меня очень баловали в детстве – больше, чем моего старшего брата. Он был здоровый, красивый, обыкновенный мальчик, а я – слабый и хворый. Ну, конечно, моя мать жила в вечном страхе за меня и любила меня фанатически. И я любил ее больше всего на свете. Я всячески старался ей угодить. Я хотел, чтобы она гордилась мной».

Детские игры были во многом навеяны книгами, которые читают мальчики – романами Майн Рида, Фенимора Купера, Густава Эмара, Жюля Верна. Было создано «тайное общество», собрания его проходили при свечах. Игры эти устраивались не только с гимназическими товарищами, но и летом, в Поповке. Играли в индейцев, в пиратов. Изображая кровожадного героя одного из романов Луи Буссенара, Гумилеву пришлось однажды эту кровожадность проявить. То ли проиграв в какую-то игру, то ли по иной причине, пришлось ему в присутствии товарищей откусить голову живому карасю.

Что бы ни делали, скакали на лошадях, играли, Гумилев всегда старался первенствовать: «Я мучился и злился, когда брат перегонял меня в беге или лучше меня лазил по деревьям. Я хотел все делать лучше других, всегда быть первым. Во всем. Мне это, при моей слабости, было нелегко. И все-таки я ухитрялся забираться на самую верхушку ели, на что ни брат, ни дворовые мальчики не решались. Я был очень смелый. Смелость заменяла мне силу и ловкость. Но учился я скверно. Почему-то не помещал своего самолюбия в ученье. Я даже удивляюсь, как мне удалось кончить гимназию. Я ничего не смыслю в математике, да и писать грамотно не научился. И горжусь этим. Своими недостатками следует гордиться. Это их превращает в достоинства».

Петербург

А. Гумилева, жена старшего брата, впоследствии писала: «Старший брат был более покладистого характера и не протестовал, но предсказывал, что не все будут ему так подчиняться, на что Коля отвечал: «А я упорный, я заставлю».

Чуть повзрослев, Гумилев стал читать уже иные книги, он читал и перечитывал Пушкина, стихи которого очень любил, были в его личной библиотеке и В. Жуковский, и «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло, а также Д. Мильтон, С.Т. Колридж, Л. Ариосто. Кроме стихов, пишет он и рассказы, где сказалось влияние прочитанных приключенческих романов. Один такой рассказ был помещен в рукописном литературном журнале, выпускавшемся в гимназии. Название стихотворения, написанного тогда же, в отрочестве, по-своему характерно: «О превращениях Будды».

Как бы ни любили родители Николая, дочь и другой сын были им не менее дороги. И когда стало известно, что у Дмитрия туберкулез, решено было переехать в места с более подходящим климатом. Усадьба была продана, квартира оставлена. Гумилевы отправились в 1900 году на Кавказ.

Семья обосновалась в Тифлисе. Николай поступил во Вторую Тифлисскую гимназию, однако главе семейства учебное это заведение чем-то не понравилось, и через полгода Николая перевели в Первую Тифлисскую мужскую гимназию, лучшую, как считалось, из городских гимназий. Впрочем, не столько очередное учебное заведение, сколько сам город и его окрестности оказывали на Гумилева особое влияние.

Тифлис. Татарская мечеть и мост на Майдане. Открытка, 1900-е гг.

Первая Тифлисская гимназия. Фотография, конец XIX в.

Говорят, Тифлис со временем все сильнее напоминал Петербург. По крайней мере, И. Чавчавадзе утверждал это на полном серьезе. Но это, конечно, вздорное преувеличение. Грузины вообще всегда сами себе кого-то напоминают. То находят общее с французами, кажется, и не отличишь тот же Тбилиси от Парижа, разве что Эйфелева башня не высится над перескакивающей с камня на камень гремящей Курой, то оказываются одного корня с басками, и всячески поддерживают этот миф, то решат, что являются на Кавказе эталоном европейской культуры, и начинают нести ее, культуру, в непросвещенные массы – усевшись на танки и бронетранспортеры, едут с просветительской миссией в Южную Осетию и Абхазию, и очень обижаются, когда темные народы, не желая цивилизоваться, встречают их с оружием в руках. Нет, культуртрегерство положительно не дает грузинам покоя.

Дом в Тифлисе, где жила семья Гумилевых. Фотография П. Лукницкого, 1960-е гг.

Но одна забавная подробность и впрямь могла напомнить о Петербурге – на торговой площади ровно в полдень, как в полдень и в Северной Пальмире, раздавался выстрел из пушки. Грузины, в отличие от петербуржцев, единственным выстрелом не обходились. Что поделать, такая уж воинственная нация: «Спозаранку пушечный выстрел сзывал горожан на торговую площадь – Майдан.

Вела к нему улица среди приземистых одноэтажных лавок. В лавках торговали не одними только фруктами и съестными припасами. Были здесь мастерские золотых и серебряных дел мастеров, духаны, кофейни, чайные и цирюльни; винные погреба с огромными бурдюками из буйволиной кожи, кузнечные мастерские и мастерские скорняков. Шум-гам стоял невообразимый. Люди сновали взад-вперед; порой проходил караван верблюдов или вереницей тянулись ослы, навьюченные зеленью, виноградом, фруктами. Зачастую посреди всей этой базарной толчеи мальчишки затевали между собой борьбу, кулачный бой, игры. Да и взрослые вели себя отнюдь не степенно. Но об этом потом, потом.

Вот на середину тротуара кто-то выставил жаровню с шашлыком на горящих угольях. А вот и вся улица загромождена ящиками и тюками.

…А на Майдане, посередине рынка, на полосатом столбе развевается знамя. Рядом, у капани – огромных весов, толпится народ. Взвешивают на капани мешки с солью, тюки хлопка и шерсти. Народу видимо-невидимо. Площадь тесная, в пятачок, сжата со всех сторон кривыми и косыми карточными домиками и фантастическими постройками, висящими в небе».

Зрелище, пестрое, разнообразное, занятное, радует глаз. Можно представить, что ты находишься в каком-нибудь восточном городе, да что представить, так оно и есть. Придумывай кто ты – Синдбад-мореход или Гарун аль Рашид, переодевшийся в простую одежду, либо Аладдин, выторговывающий на базаре старую медную лампу: «Между грудами овощей, фруктов, среди лавок с роскошными персидскими коврами бродят горцы, увешанные оружием; букинист с кипою книг, туго перетянутых ремнем, вглядывается в толпу… Турки и арабы молча сидят за прилавками, дымят кальяном, перебирают янтарные четки. Над рас-

каленными торнэ – пекарнями вьется сизый дымок. Пахнет горячим хлебом, пряностями и еще чем-то квашеным.

На Майдане представлен весь Тифлис: персиянин с глазами «как яичница», в рыжеватой бараньей шапке, с красною бородой и крашеными ногтями, в широком атласном кафтане. Армянин в чохе и московском картузе, угрюмый лезгин и грузин в шапке, лихо заломленной набекрень.

То и дело останавливаясь, площадь переходит вброд знаменитый «корабль пустыни». Поводырь – татарин или турок – тянет его за веревку с кольцом, продетым через ноздри; протащится мерин тулухчи-водовоза. Наполненные водой меха судорожно вздрагивают на боках мерина и обдают брызгами прохожих».

После пушечного выстрела, который раздается в двенадцать часов, покупать товары имели право лавочники, разносчики и перекупщики.

В жизни Тифлиса не последнюю роль играют кинто и карачохели. Это не просто два городских типа. И даже не обычные символы тифлисской жизни. Вот что пишет о них все тот же И. Гришашвили: «Кинто и карачохели – разные люди. Кинто – ожиревший бездельник, мошенник беспардонный, мелкий воришка. Карачохели – рыцарь без страха и упрека.

Характер человека кладет печать и на одежду его и на внешность. Карачохели, что означает «одетый в черную чоху», – рослый, плечистый, сильный мужчина. Его шерстяная чоха обшита по краям позументовой тесьмой; под чохой – архалук – рубашка из черного атласа в мелкую складку. Черные шерстяные шаровары, широкие книзу, заложены в сапоги со вздернутым носком, голенища перевязаны шелковой тесьмой. Подпоясан карачохели серебряным наборным ремнем. В зубах дымится трубка, инкрустированная серебром. Расшитый золотом кисет и шелковый пестрый платок заложены за пояс. На голове заломленная островерхая шапка.

Кинто – «носящий тяжести на вые» – в старину слово «квинти» означало еще и домового – одет в ситцевую в белый горошек рубаху с высоким, никогда почти не застегнутым, воротником. Просторные сатиновые шаровары заправлены в носки. Он обут в сапоги «гармошкой», носит картуз, длинная цепочка от часов свисает из его нагрудного кармана. Подпоясан кинто узким наборным ремешком. Чоху он вовсе не носит».

Таким образом, кинто и карачохели – это два абсолютно разных отношения к миру, а поскольку и кинто, и карачохели еще и поэты, они воплощают совершенно противоположные поэтические системы. Кинто – веселый, насмешливый стихотворец-пройдоха, любящий не столько стихи, сколько самого себя, карачохели – именно поэт, он творит во имя поэзии. Кинто обессмертил на своих клеенках и досках Н. Пиросмани, карачохели можно увидеть на картинах Л. Гудиашвили, картинах раннего, еще допарижского периода.

Впрочем, к поэтической грузинской натуре следует относиться с некоторым скептицизмом. Все грузины – поэты. Южная кровь пылает, зовя к свершениям, а южная же лень мешает заняться чем-либо всерьез. Грузины известные сибариты.

Тифлисскій Листокъ

скающія за извѣстную плату такъ называе-
е домашніе обѣды.

На Судебной ул., въ д. Мирзоева, изъ
артиры тифл. мѣщанина М. Ибташвили 6
нтября изъ комода похищены золотые
сы, серебряная полоскательная чаш-
, серебряная сахарница, 80 р. деньгами и двѣ
нтанціи на заложенные въ конторѣ Придонова
а выигрышныхъ билета.

Дворники, на коихъ лежатъ между прочимъ
язанности по очисткѣ улицъ, подметаютъ по-
ѣдніе въ разное время дня, по своему усмо-
нію, и нисколько не сообразуясь съ движені-
ъ публики; примѣру ихъ слѣдуютъ рабочіе
онижнаго общества конно-желѣзной дороги, за-
тые очисткой полотна дороги. Вслѣдствіе это-
, въ городѣ (взятомъ по всей его территоріи)
лицы очищаются буквально въ теченіе всего
ня. Въ частности же на Головинскомъ проспек-
, Дворцовой улицѣ и Эриванской площади,
ворники избрали время для подметанія между
-мя и 3-мя часами по-полудни, когда на этомъ
ространствѣ замѣчается особенно сильное дви-
еніе публики, главный контингентъ которой
оставляютъ дѣти и служащій людъ, возвраща-
щіеся домой изъ учебныхъ заведеній и присут-
ственныхъ мѣстъ. А такъ какъ подметанію не
редшествуетъ поливка улицъ, то публика дви-
ается въ облакахъ пыли... Въ благоустроен-
ыхъ городахъ очистка улицъ производится обы-
новенно рано утромъ, когда движеніе въ горо-
ѣ еще слабо. Для Тифлиса, гдѣ смертность
ъ легочныхъ заболѣваній весьма значитель-
, было бы очень полезнымъ придерживаться
орядка подметанія улицъ въ ранніе часы дня;
енерешній же порядокъ очистки города, прино-
щій пользу жителямъ въ одномъ отношеніи,
ричиняетъ имъ едва-ли не большій вредъ—въ
ругомъ.

На углу Тургеневской и Авчальской улицъ
гонитъ жалкое подобіе человѣческаго жилища,
инадлежащее Хархаршвили; въ этомъ «зда-
и» помѣщается духанъ Логуа. Тротуаръ у дома
ществуетъ наперекоръ всѣмъ обязательнымъ
становленіямъ, такъ что приходится обходить
о, чтобы не попасть въ западню.

Завѣдующій сельскимъ врачебнымъ пово-
мъ въ Велисцихе обратился въ тифл. врачеб.
правленіе съ просьбой о высылкѣ ему антидиф-
ритной сыворотки, въ виду появленія заболѣва-
й дифтеритомъ.

Въ ур. Бѣлый-Ключъ командированъ сель-
кій врачъ Тифл. у., въ виду того, что въ уро-
щѣ появились подозрительныя по дифтериту
абѣванія.

* * *

Я въ лѣсъ бѣжалъ изъ городовъ,
Въ пустыню отъ людей бѣжалъ...
Теперь молиться я готовъ,
Рыдать, какъ прежде не рыдалъ.

Вотъ я одинъ съ самимъ собой...
Пора, пора мнѣ отдохнуть:
Свѣтъ безпощадный, свѣтъ слѣпой
Мой выѣлъ мозгъ, мнѣ выжегъ грудь.

Я грѣшникъ страшный, я злодѣй:
Мнѣ Богъ бороться силы далъ,
Любилъ я правду и людей,
Но растоптатъ я идеалъ...

Я могъ бороться, но какъ рабъ,
Поворно струсивъ, отступилъ
И, говоря: «увы, я слабъ!»
Свои стремленья задавилъ...

Я грѣшникъ страшный, я злодѣй..
Прости, Господь, прости меня,
Душѣ измученной моей
Прости, расканные цѣпи!..

Есть люди съ пламенной душой,
Есть люди съ жаждою добра,
Ты вмѣ вручи свой стягъ святой,
Ихъ манитъ и влечетъ борьба.

Меня-жъ прости!..

К. Гумилевъ.

ТЕЛЕГРАММЫ

«Тифлисскаго Листка».

(«Черезъ Россійск. телеграфн. агентство»).

6-го сентября.

КУРСКЪ. Сегодня за Курскомъ, близъ селенія Маква, состоялся Высочайшій смотръ участвовавшихъ войскъ двухъ армій. На смотру участвовало 163½ батальона, 85½ эскадроновъ и сотенъ, 408 орудій; въ строю находилось 90 генераловъ, 502 штабъ-офицера, 89,121 нижній чинъ и 17,276 лошадей. Въ восьмомъ часу начали строиться на три фаса, по сторонамъ Царскаго павильона. По правую сторону отъ въѣзда выстроились саперы, бригады стрѣлковъ, пѣхота четырехъ дивизій, Александровское и москов-
ское пѣхотныя военныя училища, к
дѣлъ. Противъ Ихъ Величе
нистръ Императорскаго двора,
ва военнаго министра и слѣва
Малахова. Во время завтрака
пилъ за здоровье шаха Персія.
скій шахъ провозгласилъ тос
ровье Государя и за русскую
ликій Князь Михаилъ Николае
нялъ здравицу за здоровье Д
Вождя русской арміи Государя
тора. Всѣ тосты были покрыт
женнымъ «ура». Государь, оста
мѣнно доволенъ распоряженіями
маневровъ начальствующихъ
томимостью и бодрымъ видом
блестящимъ порядкомъ и благ
помъ, а равно своевременностью
заціи и совершенствомъ оборуд
енно-санитарнаго поѣзда, съ ул
емъ изъявляетъ сердечную п
ность Великому Князю Мих
колаевичу, Высочайшую бла
—Великому Князю Сергѣю А
ничу, военному министру гене
нотанту Куропаткину, комая
войсками округовъ, командиро
скихъ корпусовъ, начальнику
ковскаго военнаго округа, н
артиллеріи гренадерскаго корпу
шимъ посредникамъ, находив
правахъ посредниковъ, Велико
Владиміру Александровичу, Вел
зю Николаю Николаевичу и н
главнаго штаба генералъ-лейте
харову; Монаршее благоволен
начал ствующимъ лицамъ; «Ца
сибо»—юнкерамъ и нижнимъ
войскъ, принимавшихъ участіе
рахъ, и жалуетъ строевымъ по
нестроевымъ въ половинномъ р

КУРСКЪ. Владѣлица табач
рики Лаврова имѣла счастье
Государю Императору, черезъ
Князя Сергѣя Александровича,
издѣлія своей фабрики, за что
лась Высочайшей благодарнос
данной адъютантомъ Великаго
тотъ-же день Лаврова лично пе
распоряженіе Великаго Князя
папиросъ для нижнихъ чиновъ
ской арміи, участвовавшихъ в
рахъ. Папиросы розданы ниж
намъ въ день парада.

ОРЕЛЪ. Сегодня въ 12 часу
слѣдовалъ черезъ Орель на М
ликій Князь Сергѣй Александро

Газета «Тифлисский листок» от 8 сентября 1902 г. со стихами Гумилева

Все это видел, не мог не видеть Гумилев, бродивший по городу и его окрестностям в одиночестве и зачастую опаздывавший домой даже к обеду, на что отец сердился – домашний порядок соблюдался членами семьи очень строго. А. Гумилева рассказывает о редком исключении: «Однажды, когда Коля поздно пришел к обеду, отец, увидя его торжествующее лицо, не сделав обычного замечания, спросил, что с ним? Коля весело подал отцу «Тифлисский листок», где было напечатано его стихотворение – «Я в лес бежал из городов». Коля был горд, что попал в печать. Тогда ему было шестнадцать лет». Дело происходило в сентябре 1902 года.

Юноша чувствовал все большую самостоятельность. Он один после летних каникул добирался до Тифлиса из имения Березки в Рязанской губернии. На следующий год, когда семья уехала, остался в Тифлисе у гимназического товарища, занимался с репетитором математикой и сдал потом экзамены за шестой класс.

Недолгое и не вполне серьезное увлечение политикой (Гумилев читал агитационную литературу, штудировал даже «Капитал») в годы, предшествовавшие первой русской революции, окончилось полуанекдотически, хотя и не без налета некоторого драматизма. Гумилев так убедительно и, по-видимому, увлеченно агитировал работников на мельнице в Березках, что из-за недовольства властей ему пришлось покинуть имение.

В период Русско-японской войны был он охвачен патриотическим порывом и всерьез намеревался ехать на фронт добровольцем. Его еле отговорили от этой безрассудной затеи.

Семья Гумилевых между тем собиралась возвращаться в Царское Село. Для того, чтобы сына приняли в Николаевскую Царскосельскую гимназию, С.Я. Гумилев подает соответствующее прошение на имя директора этого учебного заведения:

> «Желая продолжить образование сына моего Николая Гумилева, ученика VII класса 1-й Тифлисской Гимназии во вверенном Вам учебном заведении, имею честь просить распоряжения Вашего о том, чтобы он был помещен в VII класс, в который он по своим познаниям переведен, причем имею честь сообщить, что он до сего времени обучался в 1-й Тифлисской Гимназии.
>
> Желаю, чтобы Николай Гумилев в случае принятия его в заведение, обучался в назначенных для него классах обоим новым иностранным языкам, буде окажет достаточные успехи в обязательных для всех предметах, в противном же случае в одном французском. При этом прилагаются дневник об его успехах, поведении и о переводе его в VII класс, свидетельства же о возрасте, звании и привитии оспы прошу истребовать от 1-й Тифлисской гимназии.
>
> *Статский Советник Степан Гумилев.*
>
> 1903 года Июля 11 дня.
> Жительство имею Рязанской губ.
> Станция Вышгород
> Московско-Рязанской ж. д.
> Усадьба Березки.
> Зимою же в гор. Царском Селе».

Кроме того, родителям будущего ученика требовалось письменно подтвердить, что они будут выполнять все необходимые требования, связанные с обучением сына. С. Я. Гумилев пишет:

> «К поданному мною от 11 сего Июля 1903 прошению о переводе моего сына ученика VII класса Тифлисской Гим[назии] Николая Гумилева в Императорскую Николаевскую Царскосельскую Гимназию имею честь присовокупить нижеследующее обязательство:
>
> 1) Означенного Николая Гумилева я обязуюсь одевать по установленной форме, снабжать всеми учебными пособиями и вносить установленную плату за право учения; 2) о том, чтобы все распоряжения начальства, касающиеся учеников гимназии вообще и Императорской Николаевской Царскосельской в частности, были им в точности выполняемы, буду прилагать всевозможное старание. Под опасением, что в противном случае он будет уволен из заведения; 3) жительство он будет иметь в пансионе Гимназии, которому я поручаю надзор за поведением его вне гимназии, о всякой же перемене квартиры гимназическое начальство будет немедленно извещаемо».

Другое написанное С.Я. Гумилевым обязательство, более пространное, включает целых тринадцать пунктов. Кроме своевременной платы за обучение там упомянуто, что родители будут следить за поведением сына во время каникул и воскресных дней, за тем, чтобы публичные места, как-то цирки, театр, концерты, он посещал только вместе с родителями либо опекунами, уведомлять гимназическое начальство о перемене семьей квартиры, а при отбытии из Царского Села родителя не только ставить в известность о том директорат гимназии, но и назначать вместо себя другого опекуна, и многое другое. Все это немаловажно, ибо гимназия, куда просил принять сына С.Я. Гумилев, не могла принять ученика экстерном. Гумилева приняли интерном, однако разрешили при этом жить не в гимназическом пансионе, а дома. Особым пунктом в обязательстве было указано, что С. Я. Гумилев обязуется внушать сыну, «чтобы при встрече с Государем Императором и членами Императорской фамилии останавливался и снимал фуражку, а при встрече с г. г. министром народного просвещения и товарищем его, попечителем учебного округа и помощником его, начальниками, почетным попечителем, преподавателями и воспитателями Гимназии, отдавал им должное почтение». Нужно помнить – что за место Царское Село, чтобы понять важность этого пункта обязательств. И члены царствующей фамилии, и сам император могли появиться рядом в самый неожиданный момент.

Царскосельская гимназия. Открытка, 1900-е гг.

Получив прошение, директор гимназии И.Ф. Анненский, в свою очередь, направил запрос директору Первой Тифлисской гимназии, прося прислать требуемые документы ученика Гумилева – свидетельство об успеваемости, свидетельства метрическое и медицинское. В запрашиваемом свидетельстве тройки по русскому, латинскому и греческому языкам и математике соседствовали с четверками по остальным предметам – Закону Божьему, физике, истории, географии и языкам французскому и немецкому. Иные оценки отсутствовали.

О том, каково было учебное заведение, для поступления в которое требовалось заполнить немало бумаг и принять на себя множество обязательств, рассказывает Д. Кленовский: «Я был в младших классах Царскосельской гимназии, когда Иннокентий Анненский заканчивал там свое директорское поприще, окончательно разваливая вверенное его попечению

учебное заведение. В грязных классах, за изрезанными партами галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрявшиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики, Марьян Генрихович. Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю, не чаще, возвращаясь в свою директорскую квартиру с урока в выпускном классе, последнем доучивавшем отмененный уже о ту пору в классических гимназиях греческий язык.

И. Ф. Анненский. Фотография, 1900-е гг.

Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову, заложив правую руку за борт форменного сюртука. Мне он напоминал тогда Козьму Пруткова с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом».

О какой-либо доверительной близости И.Ф. Анненского и Гумилева тогда не могло быть и речи. Даже и после появления сборника «Тихие песни», выпущенного в 1904 году, ровным счетом никому еще не было известно, что автор, укрывшийся под псевдонимом Ник. Т-о, и директор гимназии, знаменитый эллинист, – одно и то же лицо. Мысли этой придерживается С. Маковский, хорошо знавший обоих. А если так, то не мог И.Ф. Анненский и ассоциироваться с Царским Селом. Понимание того, кто есть на самом деле этот тихий пожилой господин, пришло много позднее, как позднее возникла и связь между поэтами, связь, о которой рассказывает Гумилев в стихотворении, посвященном памяти И.Ф. Анненского (вошло в сборник «Колчан»).

* * *

К таким нежданным и певучим бредням
Зовя с собой умы людей,
Был Иннокентий Анненский последним
Из царскосельских лебедей.

Я помню дни: я, робкий, торопливый,
Входил в высокий кабинет,
Где ждал меня спокойный и учтивый,
Слегка седеющий поэт.

Десяток фраз, пленительных и странных,
Как бы случайно уроня,
Он вбрасывал в пространство безымянных
Мечтаний – слабого меня.

О, в сумрак отступающие вещи
И еле слышные духи,
И этот голос, нежный и зловещий,
Уже читающий стихи!

В них плакала какая-то обида,
Звенела медь и шла гроза,
А там, над шкафом, профиль Эврипида
Слепил горящие глаза.

…Скамью я знаю в парке; мне сказали,
Что он любил сидеть на ней,
Задумчиво смотря, как сини дали
В червонном золоте аллей.

Там вечером и страшно и красиво,
В тумане светит мрамор плит
И женщина, как серна боязлива,
Во тьме к прохожему спешит.

Она глядит, она поет и плачет,

И снова плачет и поет,
Не понимая, что всё это значит,
Но только чувствуя – не тот.

Журчит вода, протачивая шлюзы,
Сырой травою пахнет мгла,
И жалок голос одинокой музы,
Последней – Царского Села.

И.Ф. Анненский был тогда еще жив, Гумилев юн и менее всего походил на поэта. Вернее, на поэта в привычном смысле слова. Юность, желание выделиться сказывались и во внешнем виде, и в поступках. «Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской – ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! – вспоминает Д. Кленовский. – Поэтому и не разглядел его как следует… А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках. Любил он быть на гимназических балах, энергично ухаживал за гимназистками».

Схожее впечатление осталось и у другого младшего современника, Э. Голлербаха, тот пишет, что Гумилев обличье имел «взрослое», франтил, носил усики.

Сам Гумилев рассказывал об этом времени так: «Я всегда был снобом и эстетом. В четырнадцать лет я прочел «Портрет Дориана Грея» и вообразил себя лордом Генри. Я стал придавать огромное внимание внешности и считал себя некрасивым. Я мучился этим. Я действительно, наверное, был тогда некрасив – слишком худ и неуклюж. Черты моего лица еще не одухотворились – ведь они с годами приобретают выразительность и гармонию. К тому же, как часто у мальчишек, красный цвет лица и прыщи. И губы очень бледные. Я по вечерам запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Я твердо верил, что силой воли могу переделать свою внешность. Мне казалось, что с каждым днем я становлюсь немного красивее».

Значительно позднее, в беседе, А. Ахматова сказала, что царскосельский период жизни был для Гумилева временем «темным», а сами царскоселы – люди «звероподобные». Возможно, и так, но причину подобной оценки, названную в разговоре, понимать можно не только как некую метафору. Гумилев, сказала А. Ахматова собеседнику, был «гадкий утенок в глазах царскоселов». Если вглядеться в гумилевские фотографии, особенно в ту, что была сделана для следственного дела, сразу после ареста, видно, что нос у Гумилева утиный, а голова большая, но странной формы, не вполне пропорциональная, плюс совсем коротко стриженные волосы, похожие на пух. В юности, хотя волосы тогда Гумилев носил длинные, сходство это, думается, было еще сильнее.

Трудно представить, какое впечатление производил он на девушек, например на ту же А. Ахматову (тогда еще, разумеется, Горенко), с которой познакомили его в декабре 1903 года общие друзья. Воспоминания ахматовской подруги В. Срезневской позволяют отчасти восстановить картины прошлого: «Мы вышли из дому, Аня и я с моим младшим братом Сережей, прикупить какие-то украшения для елки, которая у нас всегда бывала в первый день Рождества.

Гумилев. Фотография, 1910-е гг.

Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми»: Митей (старшим) – он учился в Морском кадетском корпусе, – и с братом его Колей – гимназистом Императорской Николаевской гимназии. Я с ними была раньше знакома через общую учительницу музыки…

Встретив их на улице, мы дальше пошли уже вместе – я с Митей, Аня с Колей, за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно; я считала (а было мне тогда уже пятнадцать!), что у него нет никаких достоинств, чтобы быть мною отмеченным.

Но, очевидно, не так отнесся Коля к этой встрече. Часто, возвращаясь из гимназии, я видела, как он шагает вдали в ожидании появления Ани. Он специально познакомился с Аниным старшим братом Андреем, чтобы проникнуть в их довольно замкнутый дом. Ане он не нравился – вероятно, в этом возрасте девушкам нравятся разочарованные молодые люди, старше двадцати пяти лет, познавшие уже много запретных плодов и пресытившиеся их пряным вкусом. Но уже тогда Коля не любил отступать перед неудачами. Он не был красив – в этот ранний период он был несколько деревянным, высокомерным с виду и очень неуверенным в себе внутри. Он много читал, любил французских символистов, хотя не очень свободно владел французским языком… Роста высокого, худощав, с очень красивыми руками, несколько удлиненным бледным лицом, я бы сказала, не очень заметной внешности, но не лишенной элегантности…»

К прочим, отнюдь не украшающим молодого человека, вещам добавлялось и то, что Гумилев картавил, особым образом произносил «р» и «л». Впоследствии это воспринималось иначе, но юность есть юность.

Анна Горенко. Фотография, 1900-е гг.

Ухаживания особого успеха не имели, добавляет мемуаристка: «Мы много гуляли, и в этих прогулках иногда нас часто «ловил» поджидавший где-то за углом Коля!

Сознаюсь… мы обе не радовались этому, мы его часто принимались изводить: зная, что Коля терпеть не может немецкого языка, мы начинали вдвоем вслух читать длиннейшие немецкие стихи… А бедный Коля терпеливо, стоически слушал всю дорогу – и все-таки доходил с нами до дому».

С Пасхи 1904 года, когда у Гумилевых состоялся бал и была приглашена, кроме прочих гимназистка Горенко, встречи их стали регулярными. Были совместные прогулки, катание на коньках, посещение концертов. Они встречались на «Башне» – так назывались искусственные руины, одна из достопримечательностей Царского Села.

Весной того же 1904 года на скамье, стоявшей под огромным деревом, Гумилев впервые объяснился в любви.

Гумилев посвящал возлюбленной стихи, которые впоследствии были включены в сборник «Путь конквистадоров», например, посвятил «Осеннюю песню».

Немалую роль в жизни Гумилева стали играть «воскресенья», что устраивались с осени этого года в доме Коковцевых – Д. Коковцев учился с Гумилевым в одном классе и тоже пробовал себя в поэзии, фамилию стоит запомнить, ибо через несколько лет человек этот покажет, каков он есть в действительности.

Из людей интересных и заметных посещали «воскресенья» И.Ф. Анненский, М.О. Меньшиков, публицист, М.И. Туган-Барановский, историк-экономист. Бывал, совсем незадолго до смерти, поэт К.К. Случевский, скончавшийся той же осенью.

Гумилев, посещавший собрания и даже читавший несколько раз стихи, был жестоко осмеян, ведь он считался ни более ни менее, как декадентом, хотя, если вспомнить, скажем, чудовищные кладбищенские картины, воспетые в стихах К.К. Случевского, нетрудно согласиться, что этого самого «декадентства» в них куда больше.

Впрочем, Гумилев не отрицал своего острого интереса к современной литературе. Он много читает, из журнала «Весы» узнает о новейших течениях в западной культуре, о том, что делают его старшие современники, русские литераторы. Статья, а вернее, развернутая рецензия, посвященная книге Папюса и опубликованная во втором номере журнала «Весы» за 1905 год, знакомит его с основными терминами и проблематикой оккультизма.

А. Ахматова на скамейке под деревом. Здесь Гумилев признался ей в любви. Фотография П. Лукницкого, 1925 г.

Позднее, когда представилась на то возможность, Гумилев, вне всякого сомнения, изучал книги Папюса, скучноватые, эклектичные, но полезные для неофита. Советами и указаниями, почерпнутыми из этих и других книг по магии и оккультизму, он пользовался в собственных мистических опытах. Так, в «Практической магии» Папюса есть отдельная короткая главка, посвященная наркотикам, где сказано: «Многие находят, что гашиш принадлежит к одним из опаснейших лекарств со стороны действия его на психическую сторону человека, что он производит чудесные видения и приводит экспериментатора в экстаз, но все это ошибочно. Это вещество, подобно опию, но с большей интенсивностью

действует на резервы нервных сил. Моментально уничтожает весь их запас, передавая его всецело умственной сфере. Поэтому воображение преувеличивает идеи, рисует чудные картины, которые должны, однако, иметь основу в существующем ранее представлении. Таким образом, горящая лампа под влиянием гашиша представляется чудным дворцом, с тысячью огней, сверкающих разноцветными камнями.

В противоположность этому, при вульгарной мысли, таковы же будут и представления.

Гашиш дополняет, но не создает. За этим состоянием опьянения следует ужасная реакция; полное истощение запасов производит страшные кошмары и сильнейшие страдания как следствие восхитительных снов и астральных ощущений. Опий и морфий, от него происходящие, действуют одинаково, но не так сильно. Несчастный раб этой привычки, желая избавиться от мучений реакции, постепенно увеличивает прием яда, что доводит его до полного истощения и смерти.

С точки зрения Магии, опасность от этих веществ очень значительна, потому что они увеличивают власть импульсивного существа над волей, и надо много энергии, чтобы подпасть господству этих веществ, являющихся воплощением мировой души в материю».

Об опытах Гумилева с эфиром известно от мемуаристов, описаны эти опыты и в его прозе, о том, что Гумилев курил опиум, вспоминал Э. Голлербах, у которого Гумилев попросил ненадолго трубку, пока не приобрел другую. Но о том в свое время, пока речь о журнале «Весы» и материалах, в нем опубликованных.

К тому потрясению, которое некогда испытал Гумилев, читая роман «Портрет Дориана Грея», прибавилось потрясение от тюремных записок О. Уайльда.

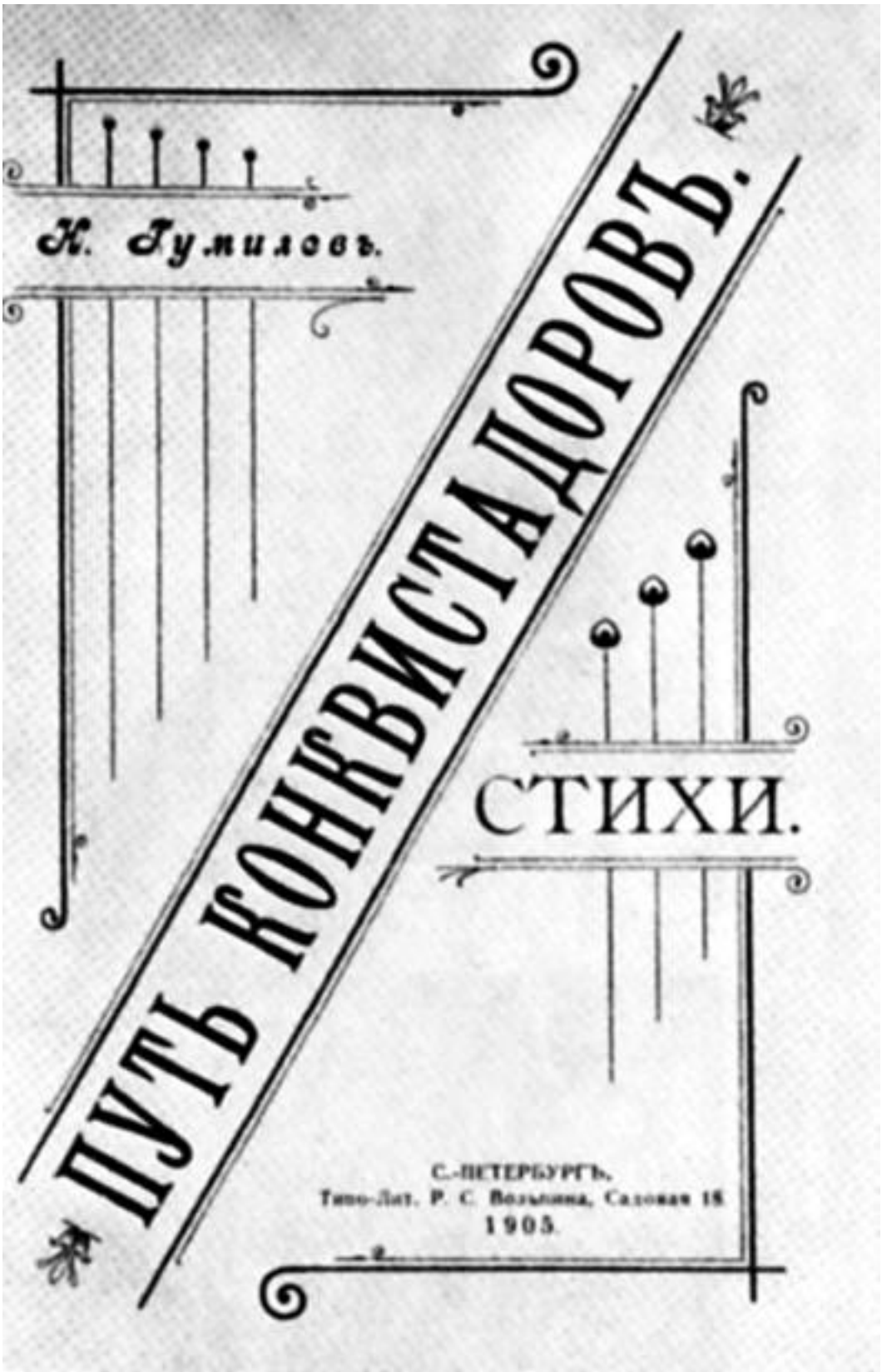
А. Ахматова рассказывала впоследствии П. Лукницкому, первому и лучшему биографу Гумилева, начавшему собирать свидетельства о нем вскоре после смерти поэта: «В 1904—1905 годы собирались по четвергам у Инны Андреевны и Сергея Владимировича, называлось это «журфиксы». На самом деле это были очень скромные студенческие вечеринки. Читали стихи, пили чай с пряниками, болтали. А в январе 1905 года Кривич женился на Наташе Штейн и они жили в гимназии на Малой, там же, где жил Иннокентий Федорович, только у них была отдельная квартира. У них собирались по понедельникам. Приблизительно то же самое было, только параднее, потому что там лакей в белых перчатках подавал».

Упоминаются в этом рассказе рано умершая сестра Ахматовой – Ирина, ее муж С.В. Штейн, сестра мужа Наталья, на которой женился В. Кривич, сын И.Ф. Анненского, упомянутого также. Как видим, круг был достаточно тесный, и связывали его не только дружеские, но и семейные отношения. Однако абсолютная порядочность этих людей и скромность нравов ничего не меняли. А. Ахматова добавляла: «Папа меня не пускал ни туда, ни сюда, так что мама меня по секрету отпускала до 12 часов к Инне и к Анненским, когда папы не было дома. А на каток вечером папа запрещал ходить, так что я бывала там очень редко: каток бывал раз в неделю, вечером, по пятницам кажется. Тогда, например, нельзя было думать о том, чтобы принимать у себя гостей. Приходил Николай Степанович к брату Андрею, приходил Коковцев к нему же (очень редко); Тучковский – приятель Николая Степановича – был. А я была в таком возрасте, что не могла иметь собственных знакомых – считалось так.

Коля был приятелем Андрея, потому бывал. Пока сестра не была замужем, бывали Дешевов (брат композитора), Селиверстов (директор радиостанции) и Кемниц (который потом под поезд бросился). Это были приятели моей старшей сестры.

Валя Срезневская тут бывала всюду, неотступно. Валя – живой свидетель этого».

В августе А. Горенко уехала в Евпаторию. Отец ее вышел в отставку, теперь он получал только пенсию и потому, чтобы избежать разорения, решил отправить семью в провинцию. А в октябре увидел свет первый сборник стихов Гумилева «Путь конквистадоров».



Обложка сборника «Путь конквистадоров»

Из сборника «Путь конквистадоров»

* * *

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.

Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман… но я молчу и жду,
И верю, я любовь свою найду…
Я конквистадор в панцире железном.

И если нет полдневных слов звездам,
Тогда я сам мечту свою создам
И песней битв любовно зачарую.

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.

* * *

С тобой я буду до зари,
Наутро я уйду
Искать, где спрятались цари,
Лобзавшие звезду.

У тех царей лазурный сон
Заткал лучистый взор;
Они – заснувший небосклон
Над мраморностью гор.

Сверкают в золоте лучей
Их мантий багрецы,
И на сединах их кудрей
Алмазные венцы.

И их мечи вокруг лежат
В каменьях дорогих,
Их чутко гномы сторожат
И не уйдут от них.

Но я приду с мечом своим;
Владеет им не гном!
Я буду вихрем грозовым,
И громом, и огнем!

Я тайны выпытаю их,
Все тайны дивных снов,
И заключу в короткий стих,
В оправу звонких слов.

Промчится день, зажжет закат,
Природа будет храм,
И я приду, приду назад
К отворенным дверям.

С тобою встретим мы зарю,
Наутро я уйду
И на прощанье подарю
Добытую звезду.

Песнь Заратустры

Юные, светлые братья
Силы, восторга, мечты,
Вам раскрываю объятья,
Сын голубой высоты.

Тени, кресты и могилы
Скрылись в загадочной мгле,
Свет воскресающей силы
Властно царит на земле.

Кольца роскошные мчатся,
Ярок восторг высоты;
Будем мы вечно встречаться
В вечном блаженстве мечты.

Жаркое сердце поэта
Блещет, как звонкая сталь.
Горе не знающим света!
Горе обнявшим печаль!

CREDO

Откуда я пришел, не знаю…
Не знаю я, куда уйду,
Когда победно отблистаю
В моем сверкающем саду.

Когда исполнюсь красотою,
Когда наскучу лаской роз,
Когда запросится к покою
Душа, усталая от грез.

Но я живу, как пляска теней
В предсмертный час больного дня,
Я полон тайною мгновений
И красной чарою огня.

Мне все открыто в этом мире —
И ночи тень, и солнца свет,
И в торжествующем эфире
Мерцанье ласковых планет.

Я не ищу больного знанья
Зачем, откуда я иду;
Я знаю, было там сверканье
Звезды, лобзающей звезду.

Я знаю, там звенело пенье
Перед престолом красоты,
Когда сплетались, как виденья,
Святые белые цветы.

И жарким сердцем веря чуду,
Поняв воздушный небосклон,
В каких пределах я ни буду,
На все наброшу я свой сон.

Всегда живой, всегда могучий,
Влюбленный в чары красоты.
И вспыхнет радуга созвучий
Над царством вечной пустоты.

Греза ночная и темная

На небе сходились тяжелые, грозные тучи,
Меж них багровела луна, как смертельная рана,
Зеленого Эрина воин, Кухулин могучий,
Упал под мечом короля океана Сварана.

И волны шептали сибиллы седой заклинанья,
Шатались деревья от песен могучего вала,
И встретил Сваран исступленный, в грозе ликованья,
Героя героев, владыку пустыни Фингала.

Друг друга сжимая в объятьях, сверкая доспехом,
Они начинают безумную, дикую пляску,
И ветер приветствует битву рыдающим смехом,
И море грохочет свою вековечную сказку.

Когда я устану от ласковых, нежных объятий,
Когда я устану от мыслей и слов повседневных —
Я слышу, как воздух трепещет от гнева проклятий,
Я вижу на холме героев, могучих и гневных.

Песня о певце и короле

Мой замок стоит на утесе крутом
В далеких, туманных горах,
Его я воздвигнул во мраке ночном,
С проклятьем на бледных устах.

В том замке высоком никто не живет,
Лишь я его гордый король,
Да ночью спускается с диких высот
Жестокий, насмешливый тролль.

На дальнем утесе, труслив и смешон,
Он держит коварную речь,
Но чует, что меч для него припасен,
Не знающий жалости меч.

Однажды сидел я в порфире златой,
Горел мой алмазный венец —
И в дверь постучался певец молодой,
Бездомный, бродячий певец.

Для всех, кто отвагой и силой богат,
Отворены двери дворца;
В пурпуровой зале я слушать был рад
Безумные речи певца.

С красивою арфой он стал недвижим,
Он звякнул дрожащей струной,
И дико промчалась по залам моим
Гармония песни больной.

«Я шел один в ночи беззвездной
В горах с уступа на уступ
И увидал над мрачной бездной,
Как мрамор белый, женский труп.

Влачились змеи по уступам,
Угрюмый рос чертополох,
И над красивым женским трупом
Бродил безумный скоморох.

И, смерти дивный сон тревожа,
Он бубен потрясал в руке,
Над миром девственного ложа
Плясал в дурацком колпаке.

Едва звенели колокольца,
Не отдаваяся в горах,
Дешевые сверкали кольца
На узких, сморщенных руках.

Он хохотал, смешной, беззубый,
Скача по сумрачным холмам,
И прижимал больные губы
К холодным девичьим губам.

И я ушел, унес вопросы,
Смущая ими божество,
Но выше этого утеса
Не видел в мире ничего».

Я долее слушать безумца не мог,
Я поднял сверкающий меч,
Певцу подарил я кровавый цветок
В награду за дерзкую речь.

Цветок зазиял на высокой груди,
Красиво горящий багрец…
«Безумный певец, ты мне страшен, уйди».
Но мертвенно бледен певец.

Порвалися струны, протяжно звеня,
Как арфу его я разбил,
За то, что он плакать заставил меня,
Властителя гордых могил.

Как прежде, в туманах не видно луча,
Как прежде, скитается тролль,
Он, бедный, не знает, бояся меча,
Что властный рыдает король.

По-прежнему тих одинокий дворец,
В нем трое, в нем трое всего:
Печальный король, и убитый певец,
И дикая песня его.

Рассказ девушки

В вечерний час горят огни…
Мы этот час из всех приметим,
Господь, сойди к молящим детям
И злые чары отгони!

Я отдыхала у ворот
Под тенью милой, старой ели,
А надо мною пламенели
Снега неведомых высот.

И в этот миг с далеких гор
Ко мне спустился странник дивный,
В меня вперил он взор призывный,
Могучей негой полный взор.

И пел красивый чародей:
«Пойдем со мною на высоты,
Где кроют мраморные гроты
Огнем увенчанных людей.

Их очи дивно глубоки,
Они прекрасны и воздушны,
И духи неба так послушны
Прикосновеньям их руки.

Мы в их обители войдем
При звуках светлого напева,
И там ты будешь королевой,
Как я – могучим королем.

О, пусть ужасен голос бурь
И страшны лики темных впадин,
Но горный воздух так прохладен
И так пленительна лазурь».

И эта песня жгла мечты,
Дарила волею мгновенья
И наряжала сновиденья
В такие яркие цветы.

Но тих был взгляд моих очей,
И сердце, ждущее спокойно,
Могло ль прельститься цепью стройной
Светло чарующих речей.

И дивный странник отошел,
Померкнул в солнечном сиянье,
Но внятно-тяжкое рыданье
Мне повторял смущенный дол.

В вечерний час горят огни…
Мы этот час из всех приметим,
Господь, сойди к молящим детям
И злые чары отгони.

Дева солнца

Марианне Дмитриевне Поляковой

I

Могучий царь суров и гневен,
Его лицо мрачно, как ночь,
Толпа испуганных царевен
Бежит в немом смятеньи прочь.

Вокруг него сверкает злато,
Алмазы, пурпур и багрец,
И краски алого заката
Румянят мраморный дворец.

Он держит речь в высокой зале
Толпе разряженных льстецов,
В его глазах сверканье стали,
А в речи гул морских валов.

Он говорит: «Еще ребенком
В глуши окрестных деревень
Я пеньем радостным и звонким
Встречал веселый, юный день.

Я пел и солнцу и лазури,
Я плакал в ужасе глухом,
Когда безжалостные бури
Царили в небе голубом.

Явилась юность – праздник мира,
В моей груди кипела кровь,
И в блеске солнечного пира
Я увидал мою любовь.

Она во сне ко мне слетала,
И наклонялася ко мне,
И речи дивные шептала
О золотом, лазурном дне.

Она вперед меня манила,
Роняла белые цветы,
Она мне двери отворила
К восторгам сладостной мечты.

И чтобы стать ее достойным,
Вкусить божественной любви,
Я поднял меч к великим войнам,
Я плавал в злате и крови.

Я стал властителем вселенной,
Я Божий бич, я Божий глас,
Я царь жестокий и надменный,
Но лишь для вас, о, лишь для вас.

А для нее я тот же страстный
Любовник вечно молодой,
Я тихий гимн луны, согласной
С бесстрастно блещущей звездой.

Рабы, найдите Деву Солнца
И приведите мне, царю,
И все дворцы, и все червонцы,
И земли все я вам дарю».

Он замолчал, и все мятутся,
И отплывают корабли,
И слуги верные несутся,
Спешат во все концы земли.

II

И солнц и Лун прошло так много,
Печальный царь, томяся, ждет,
Он жадно смотрит на дорогу,
Склонясь у каменных ворот.

Однажды солнце догорало
И тихо теплились лучи,
Как песни вышнего хорала,
Как рати ангельской мечи.

Гонец примчался запыленный,
За ним сейчас еще другой,
И царь, горящий и влюбленный,
С надеждой смотрит пред собой.

Как звуки райского напева,
Он ловит быстрые слова:
«Она живет, святая дева…
О ней уже гремит молва…

Она пришла к твоим владеньям,
Она теперь у этих стен,
Ее народ встречает пеньем
И преклонением колен».

И царь навстречу деве мчится,
Охвачен страстною мечтой,
Но вьется траурная птица
Над венценосной головой.

Он видит деву, блеск огнистый
В его очах пред ней потух,
Пред ней, такой невинной, чистой,
Стыдливо-трепетной, как дух.

Лазурных глаз не потупляя,
Она идет, сомкнув уста,
Как дева пламенного рая,
Как солнца юная мечта.

Одежды легкие, простые
Покрыли матовость плечей,
И нежит кудри золотые
Венок из солнечных лучей.

Она идет стопой воздушной,
Глаза безмерно глубоки,
Она вплетает простодушно
В венок степные васильки.

Она не внемлет гласу бури,
Она покинула дворцы,
Пред ней рассыпались в лазури
Степных закатов багрецы.

Ее душа мечтой согрета,
Лазурность манит впереди,
И волны ласкового света
В ее колышутся груди.

Она идет перед народом,
Она скрывается вдали,
Так солнце клонит лик свой к водам,
Забыв о горестях земли.

И гордый царь опять остался
Безмолвно-бледен и один,
И кто-то весело смеялся
Бездонной радостью глубин.

Но глянул царь орлиным оком
И издал он могучий глас,
И кровь пролилася потоком,
И смерть, как буря, пронеслась.

Он как гроза, он гордо губит
В палящем зареве мечты,
За то, что он безмерно любит
Безумно-белые цветы.

Но дремлет мир в молчаньи строгом,
Он знает правду, знает сны,
И Смерть, и Кровь даны нам Богом
Для оттененья Белизны.

Осенняя песня

Осенней неги поцелуй
Горел в лесах звездою алой,
И песнь прозрачно-звонких струй
Казалась тихой и усталой.

С деревьев падал лист сухой,
То бледно-желтый, то багряный,
Печально плача над землей
Среди росистого тумана.

И солнце пышное вдали
Мечтало снами изобилья
И целовало лик земли
В истоме сладкого бессилья.

А вечерами в небесах
Горели алые одежды
И, обагренные, в слезах,
Рыдали Голуби Надежды.

Летя в безмирной красоте,
Сердца к далекому манили
И созидали в высоте
Венки воздушно-белых лилий.

И осень та была полна
Словами жгучего напева,
Как плодоносная жена,
Как прародительница Ева.

* * *

В лесу, где часто по кустам
Резвились юные дриады,
Стоял безмолвно-строгий храм,
Маня покоем колоннады.

И белый мрамор говорил
О царстве Вечного Молчанья
И о полете гордых крыл
Неверно-тяжких, как рыданье.

А над высоким алтарем
В часы полуночных видений
Сходились, тихие, вдвоем
Две золотые девы-тени.

В объятьях ночи голубой,
Как розы радости мгновенны,
Они шептались меж собой
О тайнах Бога и вселенной.

Но миг, и шепот замолкал,
Как звуки тихого аккорда,
И белый мрамор вновь сверкал
Один, задумчиво и гордо.

И иногда, когда с небес
Слетит вечерняя прохлада,
Покинув луг, цветы и лес,
Шалила юная дриада.

Входила тихо, вся дрожа,
Залита сумраком багряным,
Свой белый пальчик приложа
К устам душистым и румяным.

На пол, горячий от луча,
Бросала пурпурную розу
И убегала, хохоча,
Любя свою земную грезу.

Ее влечет ее стезя
Лесного, радостного пенья,
А в этом храме быть нельзя
Детям греха и наслажденья.

И долго роза на полу
Горела пурпурным сияньем
И наполняла полумглу
Сребристо-горестным рыданьем.

Когда же мир, восстав от сна,
Сверкал улыбкою кристалла,
Она, печальна и одна,
В безмолвном храме умирала.

* * *

Когда ж вечерняя заря
На темном небе угасает
И на ступени алтаря
Последний алый луч бросает,

Пред ним склоняется одна,
Одна, желавшая напева
Или печальная жена,
Или обманутая дева.

Кто знает мрак души людской,
Ее восторги и печали?
Они эмалью голубой
От нас закрытые скрижали.

Кто объяснит нам, почему
У той жены всегда печальной
Глаза являют полутьму,
Хотя и кроют отблеск дальний?

Зачем высокое чело
Дрожит морщинами сомненья
И меж бровями залегло
Веков тяжелое томленье?

И улыбаются уста
Зачем загадочно и зыбко?
И страстно требует мечта,
Чтоб этой не было улыбки?

Зачем в ней столько тихих чар?
Зачем в очах огонь пожара?
Она для нас больной кошмар
Иль правда, горестней кошмара.

Зачем в отчаянья мечты,
Она склонилась на ступени?
Что надо ей от высоты
И от воздушно-белой тени?

Не знаем! Мрак ночной глубок,
Мечта – пожар, мгновенья – стоны;
Когда ж забрезжится восток
Лучами жизни обновленной?

* * *

Едва трепещет тишина,
Смеясь эфирным синим волнам,
Глядит печальная жена
В молчанье строгом и безмолвном.

Небес далеких синева
Твердит неясные упреки,
В ее душе зажглись слова
И манят огненные строки.

Они звенят, они поют
Так заклинательно и строго:
«Душе измученной приют
В чертогах Радостного Бога;

Но Дня Великого покров
Не для твоих бессильных крылий,
Ты вся пока во власти снов,
Во власти тягостных усилий.

Ночная, темная пора
Тебе дарит свою усладу,
И в ней живет твоя сестра —
Беспечно-юная дриада.

И ты еще так любишь смех
Земного, алого покрова,
И ты вплетаешь яркий грех
В гирлянды неба голубого.

Но если ты желаешь Дня
И любишь лучшую отраду,
Отдай объятиям огня
Твою сестру, твою дриаду.

И пусть она сгорит в тебе
Могучим, радостным гореньем,
Молясь всевидящей судьбе,
Ее покорствуя веленьям.

И будет твой услышан зов,
Мольба не явится бесплодной,
Уйдя от радости лесов,
Ты будешь божески свободной».

И душу те слова зажгли,
Горели огненные стрелы,
И алый свет, и свет земли
Предстал, как свет воздушно-белый.

* * *

Песня дриады

Я люблю тебя, принц огня,
Так восторженно, так маняще,
Ты зовешь, ты зовешь меня
Из лесной, полуночной чащи.

Хоть в ней сны золотых цветов
И рассказы подруг приветных,
Но ты знаешь так много слов,
Слов любовных и беззаветных.

Как горит твой алый камзол,
Как сверкают милые очи,
Я покину родимый дол,
Я уйду от лобзаний ночи.

Так давно я ищу тебя,
И ко мне ты стремишься тоже,
Золотая звезда, любя,
Из лучей нам постелет ложе.

Ты возьмешь в объятья меня,
И тебя, тебя обниму я,
Я люблю тебя, принц огня,
Я хочу и жду поцелуя.

*

Цветы поют свой гимн лесной,
Детям и ласточкам знакомый,
И под развесистой сосной
Танцуют маленькие гномы.

Горит янтарная смола,
Лесной дворец светло пылает,
И голубая полумгла
Вокруг, как бабочка, порхает.

Жених, как радостный костер,
Горит, могучий и прекрасный,
Его сверкает гордый взор,
Его камзол пылает красный.

Цветы пурпурные звенят:
«Давайте места, больше места,
Она идет, краса дриад,
Стыдливо-белая невеста».

Она, прекрасна и тиха,
Не внемля радостному пенью,
Идет в объятья жениха
В любовно-трепетном томленьи.

От взора ласковых цветов
Их скрыла алая завеса,
Довольно песен, грез и снов
Среди лазоревого леса.

Он совершен, великий брак,
Безумный крик всемирных оргий!
Пускай леса оденет мрак,
В них было счастье и восторги.

*

Да, много, много было снов
И струн восторженно звенящих
Среди таинственных лесов,
В их голубых, веселых чащах.

Теперь открылися миры
Жене божественно-надменной,
Взамен угаснувшей сестры
Она узнала сон вселенной.

И, в солнца ткань облечена,
Она великая святыня,
Она не бледная жена,
Но венценосная богиня.

В эфире радостном блестя,
Катятся волны мировые,
А в храме Белое Дитя
Творит святую литургию.

И Белый Всадник кинул клик,
Скача порывисто-безумно,
Что миг настал, великий миг,
Восторг предмирный и бездумный.

Уж звон копыт затих вдали,
Но вечно радостно мгновенье!
…И нет дриады, сна земли,
Пред ярким часом пробужденья.

Сказка о королях

«Мы прекрасны и могучи,
Молодые короли,
Мы парим, как в небе тучи,
Над миражами земли.

В вечных песнях, в вечном танце
Мы воздвигнем новый храм.
Пусть пьянящие багрянцы
Точно окна будут нам.

Окна в Вечность, в лучезарность,
К берегам Святой Реки,
А за нами пусть Кошмарность
Создает свои венки.

Пусть терзают иглы терний
Лишь усталое чело,
Только солнце в час вечерний
Наши кудри греть могло.

Ночью пасмурной и мглистой
Сердца чуткого не мучь;
Грозовой иль золотистой
Будь же тучей между туч».

*

Так сказал один влюбленный
В песни солнца, в счастье мира,
Лучезарный, как колонны
Просветленного эфира;

Словом вещим, многодумным
Пытку сердца успокоив,
Но смеялись над безумным
Стены старые покоев.

Сумрак комнат издевался,
Бледно-серый и угрюмый,
Но другой король поднялся
С новым словом, с новой думой.

Его голос был так страстен,

Столько снов жило во взоре,
Он был трепетен и властен,
Как стихающее море.

Он сказал: «Индийских тканей
Не достигнуты узоры,
В них несдержанность желаний,
Нам неведомые взоры.

Бледный лотус под луною
На болоте, мглой одетом,
Дышит тайною одною
С нашим цветом, с белым цветом.

И в безумствах теокалли
Что-то слышится иное.
Жизнь без счастья, без печали
И без бледного покоя.

Кто узнает, что томится
За пределом наших знаний
И, как бледная царица,
Ждет мучений и лобзаний».

*

Мрачный всадник примчался на черном коне,
Он закутан был в бархатный плащ,
Его взор был ужасен, как город в огне,
И, как молния ночью, блестящ.

Его кудри, как змеи, вились по плечам,
Его голос был песней огня и земли,
Он балладу пропел молодым королям,
И балладе внимали, смутясь, короли.

*

«Пять могучих коней мне дарил Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Я увидел бездонность подземных пещер
И роскошных долин молодое лицо.

Принесли мне вина – струевого огня
Фея гор и властительно-пурпурный Гном,

Я увидел, что солнце зажглось для меня,
Просияв, как рубин на кольце золотом.

И я понял восторг созидаемых дней,
Расцветающий гимн мирового жреца,
Я смеялся порывам могучих коней
И игре моего золотого кольца.

Там, на высях сознанья, – безумье и снег…
Но восторг мой прожег голубой небосклон,
Я на выси сознанья направил свой бег
И увидел там деву, больную, как сон.

Ее голос был тихим дрожаньем струны,
В ее взорах сплетались ответ и вопрос,
И я отдал кольцо этой деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос.

И, смеясь надо мной, презирая меня,
Мои взоры одел Люцифер в полутьму,
Люцифер подарил мне шестого коня
И Отчаянье было названье ему».

*

Голос тягостной печали,
Песней горя и земли,
Прозвучал в высоком зале,
Где стояли короли.

И холодные колонны
Неподвижностью своей
Оттеняли взор смущенный,
Вид угрюмых королей.

Но они вскричали вместе,
Облегчив больную груды:
«Путь к Неведомой Невесте —
Наш единый верный путь.

Полны влагой наши чаши,
Так осушим их до дна,
Дева Мира будет нашей,
Нашей быть она должна!

Сдернем с радостной скрижали
Серый, мертвенный покров,

И раскрывшиеся дали
Нам расскажут правду снов.

Это верная дорога,
Мир иль наш, или ничей,
Правду мы возьмем у Бога
Силой огненных мечей».

*

По дороге их владений
Раздается звук трубы,
Голос царских наслаждений,
Голос славы и борьбы.

Их мечи из лучшей стали,
Их щиты как серебро,
И у каждого в забрале
Лебединое перо.

Все, надеждою крылаты,
Покидают отчий дом,
Провожает их горбатый
Старый, верный мажордом.

Верны сладостной приманке,
Они едут на закат,
И, смущаясь, поселянки
Долго им вослед глядят.

Видя только панцирь белый,
Звонкий, словно лепет струй,
И рукою загорелой
Посылают поцелуй.

*

По обрывам пройдет только смелый…
Они встретили Деву Земли,
Но она их любить не хотела,
Хоть и были они короли.

Хоть безумно они умоляли,
Но она их любить не могла,
Голубеющим счастьем печали

Молодых королей прокляла.
И больные, плакучие ивы
Их окутали тенью своей,
В той стране, безнадежно-счастливой,
Без восторгов, и снов, и лучей.

И венки им сплетали русалки
Из фиалок и лилий морских,
И, смеясь, надевали фиалки
На склоненные головы их.

Ни один не вернулся из битвы…
Развалился прадедовский дом,
Где так часто святые молитвы
Повторял их горбун мажордом.

* * *

Краски алого заката
Гасли в сумрачном лесу,
Где измученный горбатый
За слезой ронял слезу.

Над покинутым колодцем
Он шептал свои слова,
И бесстыдно над уродцем
Насмехалася сова:

«Горе! Умерли русалки,
Удалились короли,
Я, беспомощный и жалкий,
Стал властителем земли.

Прежде я беспечно прыгал,
Царский я любил чертог,
А теперь сосновых игол
На меня надет венок.

А теперь в моем чертоге
Так пустынно ввечеру;
Страшно в мире… страшно, боги.
Помогите… я умру…»

Над покинутым колодцем
Он шептал свои слова,
И бесстыдно над уродцем
Насмехалася сова.

* * *

Когда из темной бездны жизни
Мой гордый дух летел, прозрев,
Звучал на похоронной тризне
Печально-сладостный напев.

И в звуках этого напева,
На мраморный склоняясь гроб,
Лобзали горестные девы
Мои уста и бледный лоб.

И я из светлого эфира,
Припомнив радости свои,
Опять вернулся в грани мира
На зов тоскующей любви.

И я раскинулся цветами,
Прозрачным блеском звонких струй,
Чтоб ароматными устами
Земным вернуть их поцелуй.

Людям настоящего

Для чего мы не означим
Наших дум горячей дрожью,
Наполняем воздух плачем,
Снами, смешанными с ложью.

Для того ль, чтоб бесполезно,
Без блаженства, без печали
Между Временем и Бездной
Начертить свои спирали.

Для того ли, чтоб во мраке,
Полном снов и изобилья,
Бросить тягостные знаки
Утомленья и бессилья.

И когда сойдутся в храме
Сонмы радостных видений,
Быть тяжелыми камнями
Для грядущих поколений.

Людям будущего

Издавна люди уважали
Одно старинное звено,
На их написано скрижали:
Любовь и Жизнь – одно.
Но вы не люди, вы живете,
Стрелой мечты вонзаясь в твердь,
Вы слейте в радостном полете
Любовь и Смерть.

Издавна люди говорили,
Что все они рабы земли
И что они, созданья пыли,
Родились и умрут в пыли.
Но ваша светлая беспечность
Зажглась безумным пеньем лир.
Невестой вашей будет Вечность,
А храмом – мир.

Все люди верили глубоко,
Что надо жить, любить шутя
И что жена – дитя порока,
Стократ нечистое дитя.
Но вам бегущие годины
Несли иной, нездешний звук,
И вы возьмете на Вершины
Своих подруг.

Пророки

И ныне есть еще пророки,
Хотя упали алтари,
Их очи ясны и глубоки
Грядущим пламенем зари.

Но им так чужд призыв победный,
Их давит власть бездонных слов,
Они запуганы и бледны
В громадах каменных домов.

И иногда в печали бурной
Пророк, не признанный у нас,
Подъемлет к небу взор лазурный
Своих лучистых, ясных глаз.

Он говорит, что он безумный,
Но что душа его свята,
Что он, в печали многодумной,
Увидел светлый лик Христа.

Мечты Господни многооки,
Рука Дающего щедра,
И есть еще, как он, пророки —
Святые рыцари добра.

Он говорит, что мир не страшен,
Что он Зари Грядущей князь…
Но только духи темных башен
Те речи слушают, смеясь.

Русалка

На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны,
Это странно-печальные сны
Мирового, больного похмелья.
На русалке горит ожерелье
И рубины греховно-красны.

У русалки мерцающий взгляд,
Умирающий взгляд полуночи,
Он блестит, то длинней, то короче,
Когда ветры морские кричат.
У русалки чарующий взгляд,
У русалки печальные очи.

Я люблю ее, деву-ундину,
Озаренную тайной ночной,
Я люблю ее взгляд заревой
И горящие негой рубины…
Потому что я сам из пучины,
Из бездонной пучины морской.

На мотивы Грига

Кричит победно морская птица
Над вольной зыбью волны фиорда,
К каким пределам она стремится?
О чем ликует она так гордо?

Холодный ветер, седая сага
Так властно смотрят из звонкой песни,
И в лунной грезе морская влага
Еще прозрачней, еще чудесней.

Родятся замки из грезы лунной,
В высоких замках тоскуют девы,
Златые арфы так многострунны,
И так маняще звучат напевы.

Но дальше песня меня уносит,
Я всей вселенной увижу звенья,
Мое стремленье иного просит,
Иных жемчужин, иных каменьев.

Я вижу праздник веселый, шумный,
В густых дубравах ликует эхо,
И ты приходишь мечтой бездумной,
Звеня восторгом, пылая смехом.

А на высотах, столь совершенных,
Где чистых лилий сверкают слезы,
Я вижу страстных среди блаженных,
На горном снеге алеют розы.

И где-то светит мне образ бледный,
Всегда печальный, всегда безмолвный…
…Но только чайка кричит победно
И гордо плещут седые волны.

Осень

По узкой тропинке
Я шел, упоенный мечтою своей,
И в каждой былинке
Горело сияние чьих-то очей.
Сплеталися травы,
И медленно пели и млели цветы,
Дыханьем отравы
Зеленой, осенней светло залиты.
И в счастье обмана
Последних холодных и властных лучей
Звенел хохот Пана
И слышался говор нездешних речей.
И девы-дриады,
С кристаллами слез о лазурной весне,
Вкусили отраду,
Забывшись в осеннем, божественном сне.
Я знаю измену,
Сегодня я Пана ликующий брат,
А завтра одену
Из снежных цветов прихотливый наряд.

И грусть ледяная
Расскажет утихшим волненьем в крови
О счастье без рая,
Глазах без улыбки и снах без любви.

* * *

Иногда я бываю печален,
Я, забытый, покинутый бог,
Созидающий в груде развалин
Старых храмов – грядущий чертог.

Трудно храмы воздвигнуть из пепла,
И бескровные шепчут уста:
Не навек ли сгорела, ослепла
Вековая, Святая Мечта.

И тогда надо мною неясно,
Где-то там, в высоте голубой,
Чей-то голос порывисто-страстный
Говорит о борьбе мировой.

«Брат усталый и бледный, трудися!
Принеси себя в жертву земле,
Если хочешь, чтоб горные выси
Загорелись в полуночной мгле.

Если хочешь ты яркие дали
Развернуть пред больными людьми,
Дни безмолвной и жгучей печали
В свое мощное сердце возьми.

Жертвой будь голубой, предрассветной…
В темных безднах беззвучно сгори…
…И ты будешь Звездою Обетной,
Возвещающей близость зари».

* * *

По стенам опустевшего дома
Пробегают холодные тени,
И рыдают бессильные гномы
В тишине своих новых владений.

По стенам, по столам, по буфетам
Все могли бы их видеть воочью,
Их, оставленных ласковым светом,
Окруженных безрадостной ночью.

Их больные и слабые тельца
Трепетали в тоске и истоме
С той поры, как не стало владельца
В этом прежде смеявшемся доме.

Сумрак комнат покинутых душен,
Тишина с каждым мигом печальней,
Их владелец был ими ж задушен
В темноте готической спальни.

Унесли погребальные свечи,
Отшумели прощальные тризны,
И остались лишь смутные речи
Да рыданья, полны укоризны.

По стенам опустевшего дома
Пробегают холодные тени,
И рыдают бессильные гномы
В тишине своих новых владений.

Стихи, вошедшие в сборник, по большинству даже не ученические, потому что гладкие эти строки – явление версификации, а не поэзии. Строки эти мертвы. Однако знаменитый В.Я. Брюсов в рецензии, посвященной сборнику, нашел, за что можно похвалить начинающего автора, да и то, что рецензент мог посчитать слабостью – повторение задов декадентства – для Гумилева прозвучало едва ли не поощрением: «По выбору тем, по приемам творчества автор явно примыкает к «новой школе» в поэзии. Но пока его стихи только перепевы и подражания, далеко не всегда удачные. В книге опять повторены все обычные заповеди декадентства, поражавшие своей смелостью и новизной на Западе лет двадцать, у нас лет десять тому назад».

Подражание и даже заимствования указывают на то, с кого новичок берет пример. Это все те же представители «новой поэзии», во многом утратившие свою новизну: «Отдельные строфы до мучительности напоминают свои образцы, то Бальмонта, то Андр. Белого, то А. Блока… Есть совпадения целых стихов: так, стих «С проклятием на бледных устах» (с. 15) уже сказан раньше К. Бальмонтом («Мертвые корабли»). Формой стиха г. Гумилев владеет далеко не в совершенстве: он рифмует «стоны» и «обновленный», «звенья» и «каменьев»,

«эхо» и «смехом», «танце» и «багрянцы», начинает анапест с ямбических двухсложных слов, как «они», «его», а ямбы со слова «или» и т. д.»

Впрочем, сделанный рецензентом вывод явно обнадеживает: «…в книге есть и несколько прекрасных стихов, действительно удачных образов. Предположим, что она только «путь» нового конквистадора и что его победы и завоевания – впереди».

Рецензией на сборник откликнулся и С. Штейн, критик, упоминавшийся выше, муж сестры А. Горенко. Похвалы его еще снисходительнее, а замечания высказаны чуть мягче, нежели маститым В.Я. Брюсовым. Зная Гумилева, он, по-видимому, не хотел сильно задеть самолюбие молодого поэта, но и не собирался закрывать глаза на досадные огрехи: «Г-н Гумилев, как поэт, еще очень молод: в нем не перебродило и многого он не успел творчески переработать. Несомненно, однако, что у него есть задатки серьезного поэтического дарования, над развитием которого стоит прилежно поработать. Сборник стихотворений выпущен этим автором слишком рано: он пестрит детскими страницами, в которых сказывается отсутствие твердой и возмужалой мысли. (см. его «Поэмы»). Как и многие начинающие поэты, г. Гумилев, свободно пишущий стихи, поддается обаянию своей версификаторской способности и подчас не столько сам владеет стихом, сколько его стих – им. Почему-то у молодого поэта есть тяготение к архаизмам («златой», «влачились», «мятутся», «стезя» и т. п.), которые сильно режут ухо и странно противоречат несомненному стремлению автора следовать лучшим образцам новейшей русской поэзии.

В стихотворениях г. Гумилева есть грациозные и легкие образы, но они нередко искажаются избитостью некоторых, излюбленных автором, эпитетов. Весьма удаются г. Гумилеву стихотворения со сказочным, мистическим оттенком: среди них мы укажем: «Русалку», «Грезу ночную и темную», «На мотив Грига» и особенно «По стенам опустевшего дома», в котором замечается наиболее гармоничное сочетание содержания и формы.

Советуем г. Гумилеву на будущее время стремиться к большей простоте и непосредственности, исправляя допущенные дефекты в технике стиха: напрасно он злоупотребляет неправильными ударениями и рифмует не всегда удачно и гладко».

Сборник, снабженный дарственной надписью, был преподнесен И.Ф. Анненскому, который впоследствии «отдарил» Гумилева сборником статей «Книги отражений», сделав слегка ироническую, однако, лестную для адресата надпись.

Меж нами сумрак жизни длинной,
Но этот сумрак не корю,
И мой закат холодно-дынный
С отрадой смотрит на зарю.

Отношения И.Ф. Анненского и Гумилева стали чуть ближе, Гумилев начал бывать у старшего собрата по словесности дома.

Книжечку получили не только те, кто имел отношение к литературе. Д. Кленовский вспоминает, что горничная Зина, служившая одно время у Гумилевых, а потом перешедшая к ним, показала как-то, как необычайную драгоценность, сборник, подаренный ей Гумилевым. Мемуарист вспоминает, что, судя по всему, была она влюблена в своего юного барина, и стихов уж точно не читала.

Сборник был отправлен и в Евпаторию, где жил теперь Андрей Горенко. Отношения с его сестрой тогда были прерваны, ей Гумилев книгу не подарил.

На время это пришлись и другие события, о которых вспоминают очевидцы: «Стояла революционная зима 1905 года. Залетела революция и в стены Царскосельской гимназии, залетела наивно и простодушно. Заперли в классе, забаррикадировав снаружи дверь циклопическими казенными шкафами, хорошенькую белокурую учительницу французского

языка. То там, то тут на уроках лопались с треском электрические лампочки, специально приносимые из дому для этой цели. Девятым валом гимназического мятежа была «химическая обструкция» (так это тогда называлось): в коридорах стоял сизый туман и нестерпимо пахло серой. Появился Анненский, заложивший себе почему-то за высокий крахмальный воротничок белоснежный носовой платок. Впервые он выглядел озадаченным. Как и обычно, был окружен воющей, но очень мирно и дружелюбно к нему настроенной, гимназической толпой.

В этот день учеников распустили по домам. Гимназию на неопределенное время закрыли».

Открытая вновь гимназия оказалась отремонтированной, заново оснащенной всяческими учебными пособиями и наглядными материалами, но И.Ф. Анненского сменил на посту директора Я.Г. Мор, прежний директор был отправлен в отставку. Сменились и многие учителя. Закончилась одна эпоха и наступила другая.

В.Я. Брюсов прислал письмо, где предлагал Гумилеву сотрудничать в журнале «Весы». Это было признание. Гумилев послал ответное письмо: «3-го апреля мне исполнилось двадцать лет, и через две недели я получаю аттестат зрелости. Отец мой – отставной моряк и в материальном отношении вполне обеспечен. Пишу я с двенадцати лет, но имею очень мало литературных знакомств, так что многие вещи остаются нечитанными за недостатком слушателей.

Летом я собираюсь ехать за границу и пробыть там пять лет. Но так как мне очень хочется повидаться с Вами, то я думаю недели через три поехать в Москву, где, может быть, Вы не откажете уделить мне несколько часов».

В мае 1906 года Гумилев сдал экзамены на аттестат зрелости. О том, как это было, вспоминал преподаватель Мухин: «На выпускных экзаменах на вопрос, чем замечательна поэзия Пушкина, Гумилев невозмутимо ответил: «Кристальностью». Чтобы понять силу этого ответа, надо вспомнить, что мы, учителя, были совершенно чужды новой литературе, декадентству… Этот ответ ударил нас как обухом по голове. Мы громко расхохотались! Теперь-то нам понятны такие термины, как верно определяет это слово поэзию Пушкина, но тогда…»

С.Я. Гумилев настоял на том, чтобы младший сын поступил в университет (старший – Дмитрий – тоже окончивший царскосельскую гимназию, поступил по настоянию отца в Морской корпус). Гумилев решил, что поедет учиться в Париж.

Россию Гумилев покинул в июле. Содержание, высылаемое ему, было более чем скромное, если учесть, что ежемесячные 100 рублей в чужом городе – это не то, что те же 100 рублей на родине, но Гумилев даже сам иногда посылал деньги домой, по-видимому, всячески урезая собственные расходы.

Он много ходит по городу, много читает и часто пишет письма знакомым и близким, активно переписывается с В.Я. Брюсовым, с которым у него сложились вполне доверительные отношения, хотя оба корреспондента осознавали, что это отношения учители и ученика. Так, Гумилев пишет: «…я должен горячо поблагодарить Вас за Ваши советы относительно формы стиха. Против них долго восставала моя лень, шептала мне, что неточность рифмы дает новые утонченные намеки и сочетания мыслей. Но потом наступил перелом. Последующие мои стихи, написанные с безукоризненными рифмами, доставили мне больше наслаждения, чем вся моя предшествующая поэзия. Мало того, я начал упиваться новыми, но безукоризненными рифмами и понял, что источник их неистощим.

Вы были так добры, что сами предложили свести меня с Вашими парижскими знакомыми. Это будет для меня необыкновенным счастьем, так как я оказался несчастлив в моих здешних знакомствах».

Вдалеке от семьи, несмотря на новые впечатления и очень интенсивную культурную жизнь, Гумилев испытывает сильную тоску. Черта эта, кажется, наследственная. А. Гумилева рассказывает, что сходным образом тосковал и ее будущий муж Д. Гумилев: «Старший после окончания классической царскосельской гимназии по желанию отца поступил в Морской корпус, в гардемаринские классы, был одно лето в плавании, но так тосковал, что раньше времени вернулся домой. А поэт по настоянию отца должен был поступить в университет. Коля захотел поехать в Париж, и там поступил в Сорбонну. Но и он тоже сильно тосковал по дому и хотел даже вернуться, но отец не разрешил».

Сорбонна. Открытка, 1900-е гг.

Думаю, что интерес к оккультизму, не в последнюю очередь, связан с этой неизбывной тоской. Чтение особого рода книг, мысли о том, что лежит за гранью человеческого понимания – все это отразилось в стихах, пусть не сразу, а с некоторым запозданием. Стихотворение из сборника «Жемчуга», посвященное М. Кузмину, так и называется «В библиотеке».

О, пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок.
Куда от странной грезы деться?
Я отыскал сейчас цветок
В процессе древнем Жиль де Реца.

Изрезан сетью бледных жил,
Сухой, но тайно благовонный…
Его, наверно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп
И мысли холодно-жестоки.

И, верно, дьявольская страсть
В душе вставала, словно пенье,
Что дар любви, цветок, увясть
Был брошен в книге преступленья.

И после, там, в тени аркад,
В великолепьи ночи дивной
Кого заметил тусклый взгляд,
Чей крик послышался призывный?

Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И бремя жизни – злое бремя…
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

Мои мечты… они чисты,
А ты, убийца дальний, кто ты?!
О, пожелтевшие листы,
Шагреневые переплеты!

Жиль де Рец, или Жиль де Ре, согласно нынешней транскрипции, прославленный маршал Франции, соратник Жанны д'Арк, был обвинен в колдовстве, ритуальных убийствах и отправлении черной мессы.

Какие только мысли не приходят за чтением в библиотечной тишине, особенно если принять во внимание, что в главной парижской библиотеке есть такие хранилища, как «Преисподняя», либо «Ад», куда помещают книги, чье содержание глубоко предосудительно.

М. Кузмин. Фотография, 1910-е гг.

В стихах Гумилева, как ни странно, книги почти всегда ассоциируются с чем-то выморочным, но таинственным, колдовством, заклятием. Вот еще одно стихотворение из сборника «Жемчуга», связь эта очевидна.

У меня не живут цветы,
Красотой их на миг я обманут,
Постоят день-другой и завянут,
У меня не живут цветы.

Да и птицы здесь не живут,
Только хохлятся скорбно и глухо,
А наутро – комочек из пуха…
Даже птицы здесь не живут.

Только книги в восемь рядов,
Молчаливые, грузные томы,
Сторожат вековые истомы,
Словно зубы в восемь рядов.

Мне продавший их букинист,
Помню, был горбатым, и нищим…
…Торговал за проклятым кладбищем
Мне продавший их букинист.

Короткая частица «за» означает очень много, означает она, что никакой иной дороги к дому, где торговал таинственный букинист, попросту нет. В противном случае было бы сказано «возле» или же «около». Но идти к букинисту нужно именно через кладбище, на которое наложено проклятие. Казалось бы, ограничение продиктовано реальными обстоятельствами, топографией. Такое возможно, скажем, в Петербурге, вернее, в пригородах, ведь кладбище находится не в пределах города. Там, где есть река, но отсутствуют мосты, и потому идти в обход невозможно, чтобы достичь цели, надо шагать через кладбище. Это и есть испытание, часть обряда инициации. Однако и происхождение самого Петербурга, по преданиям, связано с тектоническими, геофизическими процессами, город возносится «из топи блат». Что же до стихов Гумилева, то понимать их следует так: кладбище есть земля, а потому слова «за проклятым кладбищем» можно истолковать как «за проклятыми, заколдованными землями». И посещение букиниста теперь предстает в виде долгого путешествия, описанного в старинных географиях или воспетого в эпических поэмах. Так, преодолевая препятствия, борясь с неблагоприятными обстоятельствами, едут или плывут герои за каким-то ценным предметом. Если это золотое руно, то оно не пошло впрок владельцу – букинист был нищ и уродлив, а книги, напоминающие зубы, разве это не зубы дракона.

Да и слово «помню» сказано о букинисте неспроста. Это путешествие, эта купля-продажа, акт повторяющийся, неоднократный, иначе бы и не остался в памяти, а целые библиотеки букинисты не продают. Речь о конкретных книгах, заказанных покупателем и подбиравшихся букинистом. Ведь это особые книги. Последствия такого предосудительного интереса страшны: живые создания не выдерживают соседства с книгами, прячущими секреты тайных наук. За такое соседство расплата – быстрая смерть.

Итак, в занятиях магией и оккультизмом Гумилев хотел отыскать выход из охватившей его тоски. Разумеется, он не первый и не последний, кто возмечтал обратить тревогу в радость, преобразить слабость в силу, обрести рай на земле, даже если для этого следовало обратиться к силам ада. Наглядный пример подал его учитель в поэзии В.Я. Брюсов, также интересовавшийся оккультными науками.

Серьезное влияние оказал и роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», который, при желании, можно рассматривать не как манифест эстетизма, свод сомнительных парадоксов, а как мистический роман, магическая вещь в котором заступает место человека (симпатическая магия легко угадывается в этом сюжете, посвященном, кажется, проблемам искусства). Справедливости ради, надо отметить, Гумилев был очарован именно парадоксами, представлявшимися ему философскими откровениями.

Но, так или иначе, он и сам пишет повесть «в стиле» этого английского романа, о чем сообщает в 1908 году из Парижа В.Я. Брюсову, спрашивая заодно, нельзя ли в каталоге издательства «Скорпион» поместить заметку о готовящемся им сборнике стихов «Золотая магия».

Будучи в Париже, Гумилев ставит и несколько магических опытов. Современница вспоминает: «Помню, как он однажды очень серьезно рассказывал о своей попытке вместе с несколькими сорбоннскими студентами увидеть дьявола. Для этого нужно было пройти через ряд испытаний – читать каббалистические книги, ничего не есть в продолжение нескольких дней, а затем в назначенный вечер выпить какой-то напиток. После этого должен был появиться дьявол, с которым можно было вступить в беседу. Все товарищи очень

быстро бросили эту затею. Лишь один Н. С. проделал все до конца и действительно видел в полутемной комнате какую-то смутную фигуру».

Каким образом надо готовиться к подобным мистическим опытам сказано, например, у Папюса. Автор планомерно описывает свойства той или иной пищи, действие того или иного питья, будь то чай, кофе, либо средства наркотические. Да разве книги одного Папюса можно без особого труда отыскать в парижских библиотеках? А в гумилевских стихах имеются не только открытые упоминания о томиках в шагреневых переплетах.

И сами образы стихов выдают знакомство с работами по оккультизму, описаниями алхимического делания, обрядами инициации. Длинные коридоры, похороненный старый маг – оттуда. И звери у Гумилева – это звери средневековых бестиариев, не столько реальные существа, сколько воплощенные качества: жестокость, кровожадность, изысканность. Лев, гиена, жираф, крокодил. Исключение составляют, должно быть, лишь арабский конь и собака (вероятно, сеттер, если судить по масти) из стихотворения «Осень».

Косматая, рыжая, рядом
Несется моя собака,
Которая мне милее
Даже родного брата,
Которую буду помнить,
Если она издохнет.

Это признание, да еще усилие, отразившееся в интонации:

Трудно преследовать лошадь
Чистой арабской крови.
Придется присесть, пожалуй,
Задохнувшись, на камень
Широкий и плоский, —

отразили и реальные чувства, и физическое напряжение.

А в стихотворении «Индюк» опять та же бестиальность, когда действительность уступает место образу, развернутому сравнению, каковыми и держатся бестиарии – как в детстве боялся индюка, так сейчас испытывает боязнь (не страх, страх Гумилев преодолевал силой воли) перед любимой.

К чтению добавлялись психоделические опыты – курение опиума, вдыхание эфира. Иначе говоря, опыты по преображению реальности продолжались, делались все разнообразнее. И вдруг странное признание, сохраненное в памяти собеседником: «Основной чертой творчества Гумилева была правдивость. В 1914 году я с ним познакомился в Петербурге, он, объясняя мне мотивы акмеизма, между прочим, сказал: «Я боюсь всякой мистики, боюсь устремлений к иным мирам, потому что не хочу выдавать читателю векселя, по которым расплачиваться буду не я, а какая-то неведомая сила».

Значат ли эти слова, что Гумилев изверился, оставил поиски рецепта для преображения себя и окружающей действительности? Уже в стихотворении «Читатель книг», входящем все в тот же сборник «Жемчуга», заметны усталость, сомнение.

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознанья,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо,
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером… О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за киотом,
И маятник, недвижный, как луна,
Что светит над мерцающим болотом!

Четкого ответа нет. Есть череда превращений, схожих с алхимическим процессом, который, кажется, лежит в основе немалого числа гумилевских стихов. Взять, хотя бы, стихотворение «Путешествие в Китай» 1910 года, где не просто слышатся ритмы «Заблудившегося трамвая», который только еще будет написан через десятилетие, после революций и войн. И это не случайное совпадение и не преемственность, а принципиальное единство.

Начнем с названия. Почему Китай, а не какая-либо другая страна, другой континент, наконец, другая планета? И отсылка к Рабле, имеющаяся в тексте, равно и указанный маршрут путешествия могут ввести в заблуждение лишь невежду.

Абсолютно не важно, куда направляться. Это путешествие не в земные дебри, а в глубины собственной души. Страны только носят разные названия, а по сути едины.

«Я открыл, что Китай и Испания совершенно одна и та же земля, и только по невежеству считают их за разные государства. Я советую всем нарочно написать на бумаге Испания, то и выйдет Китай», – утверждает герой «Записок сумасшедшего» Н.В. Гоголя.

Да что там страны: «…я узнал, что у всякого петуха есть Испания, что она у него находится под перьями».

С уст сумасшедшего Поприщина, который – неизвестно еще, сошел с ума или только испытывает гениальное прозрение перед тем как впасть в бесповоротное безумство – слетает разгадка.

Ведь действие разворачивается в пределах «петербургского текста», где образы и времена двоятся, троятся, расплываются и накладываются друг на друга.

Напомню пассаж из гоголевского «Невского проспекта»: «Перед ним сидел Шиллер, – не тот Шиллер, который написал «Вильгельма Телля» и «Историю Тридцатилетней войны», но известный Шиллер. Жестяных дел мастер, в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера».

Разве это не прозаический конспект стихотворения Гумилева «Современность» с удивительным, на первый взгляд, утверждением:

Я так часто бросал испытующий взор
И так много встречал отвечающих взоров,
Одиссеев во мгле пароходных контор,
Агамемнонов между трактирных маркеров.

Ошибкой было бы возводить эти стихи к иному первоисточнику, например, к известному пушкинскому рассуждению из «Путешествия в Арзрум», дескать, имеются на свете Александры, никогда не водившие в атаку войска, или Наполеоны, не видевшие солнца Аустерлица. Тут слышится обреченность.

Что же касается стихотворения «Современность», да и подавляющего большинства стихотворений Гумилева, они являются руководством для начинающего или отчаявшегося алхимика. Эти стихи убеждают: стоит понять, кто ты на самом деле, вернее, кто же есть настоящий «ты», и ты преобразишься. Алхимия занята не только поисками «философского камня» и получением «эликсира бессмертия». Великое делание преображает адепта, он сам меняется, смешивая и выпаривая, получая вещества и тинктуры.

Просто нужно видеть явленным скрытое. И путешествие к оракулу божественной бутылки, описанное Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» – есть алхимический вояж. Он столь же реален, сколь и условен. Ведь алхимия путь не в пространствах, а в пределах собственной души, осознание себя и переделывание.

В другой известной книге рассказано о том, что заветная дверца, которую открывает золотой ключик, расположена за куском старого холста с нарисованным кипящим на огне котелком, а находится этот холст в каморке папы Карло, откуда отправился в свое путешествие Буратино и куда возвратился, поскольку дверца-то здесь.

И в свете сказанного вполне возможно, что Испания находится под перьями петуха, как заявляет Поприщин. И бред его, страшащий окружающих, можно воспринять как алхимический рецепт, здравомыслящему человеку представляющийся сущим вздором. Как сущим вздором может показаться здравомыслящему читателю утверждение, что стихи Гумилева «Путешествие в Китай» тоже описывают алхимический вояж.

Куда, в таком случае, девать приятный «орнаментализм» этих стихов, их звонкие и легкие краски, куда девать мужественно драматическую концовку:

Только в Китае мы якорь бросим,
Хоть на пути и встретим смерть!

А вопросы решаются без труда. Китай, по мысли автора, и есть та чаемая земля, утерянный рай, что необходимо вновь обрести. Символическая – а порой и реальная – смерть есть обязательная часть процесса инициации, разновидностью которого является и алхимическое делание.

Мне представляется, что, исчерпав предлагаемые оккультными науками способы достижения чаемого, Гумилев пришел к неожиданному решению. Он решил изменить порядок действия. Почему путь к себе должен быть так долог? Почему, чтобы преобразиться, надо терять годы на промежуточные занятия, а не начать с самого себя?

В Париже, в 1906 году, процесс осознания только начинался, и о том можно судить, кроме прочего, по письмам Гумилева, адресованным В.Я. Брюсову: «Прежде всего спешу ответить на Ваш вопрос о влиянии Парижа на мой внутренний мир. Я только после Вашего письма задумался об этом и пришел вот к каким серьезным выводам: он дал мне осознание глубины и серьезности самых мелких вещей, самых коротких настроений. Когда я уезжал из России, я думал заняться оккультизмом. Теперь я вижу, что оригинально задуманный галстук или удачно написанное стихотворение может дать душе тот же рецепт, как и вызывание мертвецов, о котором так некрасноречиво трактует Элифас Леви».

Признание характерно, однако слова не следует понимать так, будто ради вещей светских Гумилев отказался от изучения тех же тайных наук. Адепты должны скрывать род своих интересов, в противном случае тайные науки перестают быть таковыми. Но внутреннему совершенствованию, выстраиванию собственной души посещение выставок и концертов не мешает, а напротив, является важнейшим подспорьем.

Кроме театров и библиотек, посещает Гумилев и музеи. Новые впечатления отразятся в стихах чуть позднее. Так, в сборнике «Жемчуга» появится стихотворение «Портрет мужчины», где описывается картина неизвестного мастера, увиденная в Лувре.

Его глаза – подземные озера,
Покинутые царские чертоги.
Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о Боге.

Его уста – пурпуровая рана
От лезвия, пропитанного ядом;
Печальные, сомкнувшиеся рано,
Они зовут к непознанным усладам.

И руки – бледный мрамор полнолуний,
В них ужасы неснятого проклятья.
Они ласкали девушек-колдуний
И ведали кровавые распятья.

Ему в веках достался странный жребий —
Служить мечтой убийцы и поэта.
Быть может, как родился он, – на небе
Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,
В его душе печали без названья.
На все сады Мадонны и Киприды
Не променяет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,
И нежен цвет его атласной кожи.
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать… плакать больше он не может.

Посещает Гумилев и художественные выставки. На одной из выставок он знакомится с русскими художниками М. Фармаковским, А. Божеряновым, И. Щукиным. Отношения с ними перешли в доброе товарищество, сказалась общность взглядов на искусство, отчасти и общность образов, разрабатываемых ими, пусть и в разных материалах – Гумилевым в слове, живописцами на холсте и бумаге.

«Всякий, кто впервые войдет в ателье Фармаковского и хотя бы даже рассеянно взглянет на его рисунки, испытает странное чувство, – пишет Гумилев в художественном обзоре, из числа тех, что он посылал в Россию. – Ему покажется, что не на холсте или бумаге, а в его собственном мозгу возникли эти невиданные пейзажи, с деревьями и цветами, похожими на грезы больного индуса. Эти образы, странные, почти нелепые, но нарисованные с той страшной реальностью, которая пугает больше всякой фантастичности. Кажется, что рухнули стены нашего сознания, над которыми трудилось столько поколений, и что человеческая воля из мировой царицы снова превратилась в маленькую загнанную ощетинившую[ся] кошку, с безумной смелостью отгоняющую от нее бешеных псов».

Описывая серию рисунков «Жизнь», Гумилев старается передать столпотворение образов, характерных для этого цикла, их чудовищность, изломанность: «А вот «враг», который каждую минуту может попасться навстречу любящим, бродит на границах мира; он

рыцарь невысокий, коренастый, в массивных латах; настоящий хозяин чудовищного средневековья.

Смуглое темное лицо, кривой глаз и большой белый клык, торчащий из презрительно скривленного рта.

У него на своре три пятнистых гиены, наверное, не раз лакомившихся человеческим мясом. Не робкое сердце надо иметь, чтобы объявить себя врагом такого бойца.

Гумилев. Художник М. Фармаковский, 1908 г.

Остальные рисунки Фармаковского в таком же роде. Безумно хохочущий старик на неуклюжем чудовище полулошади, полулягушки, Афродита, в виде толстой хищной сводни, ведущая за собой невинную девушку, с широко раскрытыми задумчивыми глазами, садизм и проч. заставляют тоскливо сжиматься сердце зрителя».

Зато другая часть творчества художника – светлая – полна чарующими красками юга. Черные пантеры, пальмы, ирисы, золотые змеи, ягуары, марабу. «Изящный будуар природы», – такое определение подыскивает Гумилев, и в его устах это похвала.

Итак, появились соратники, и Гумилев решил, что можно попробовать издавать литературный журнал. В письме к В.Я. Брюсову, правда, ситуация представлена чуть иначе: «Теперь приступаю к самому главному. Несколько русских художников, живущих в Париже,

затеяли издавать журнал художественный и литературный. Так как среди них пишу я один, то они уговорили меня взять заведывание литературной частью с титулом редактора-издателя. Его направление будет новое, и политика тщательно изгоняема. Он будет выходить еженедельно размером в один или два печатных листа. Его небольшой размер почти дает мне возможность надеяться избежать ошибок и неловкостей, которые могут произойти от моей неопытности. Теперь, Валерий Яковлевич, если бы Вы могли дать нам что-нибудь свое – стихотворение, рассказ или статью, – Вы еще раз доказали бы свою бесконечную доброту ко мне. К несчастью, дело настолько молодое, что мы ничего не можем сказать о гонораре. Мы, его устроители, работаем совершенно бесплатно». Письмо написано тогда, когда первый номер журнала был уже собран.

Издательские хлопоты, начавшиеся в конце 1906 года, увенчались успехом в грядущем январе. Первый номер журнала «Сириус» вышел. Номер открывался обращением «От редакции», где говорилось: «Издавая первый русский художественный журнала в Париже, этой второй Александрии утонченности и просвещения, мы считаем долгом познакомить читателей с нашими планами и взглядами на искусство.

Мы дадим в журнале новые ценности для изысканного миропонимания и старые ценности в новом аспекте.

Мы полюбим все, что даст эстетический трепет нашей душе, будет ли это развратная, но роскошная Помпея, или Новый Египет, где времена сплелись в безумьи и пляске, или золотое средневековье, или наше время, строгое и задумчивое.

Мы не будем поклоняться кумирам, искусство не будет рабыней для домашних услуг. Ибо искусство так разнообразно, что свести его к какой-либо цели, хоть и для спасения человечества, есть мерзость перед Господом».

Обложка журнала «Сириус», 1907 г.

Обращение написано, скорее всего, Гумилевым, ему принадлежала также повесть, начало которой было помещено в журнале, и стихотворение «Франции». Повесть публиковалась под его собственной фамилией, стихи были подписаны псевдонимом. Кроме того, в журнале публиковалась художественная критика, «этюд», написанный М. Фармаковским, и репродукции с картин художников С. Данишевского, Я. Николадзе, А. Божерянова. Две

недели спустя вышел второй номер журнала, где, кроме прочего, были напечатаны стихи Анны Горенко. Это было первое ахматовское выступление в печати. Сама она, впрочем, отнеслась к этому издательскому начинанию не без иронии. В письме, адресованном С. Штейну, есть такие строки: «Зачем Гумилев взялся за «Сириус»? Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение. Сколько несчастиев наш Микола перенес, и все понапрасну. Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я? Я думаю, что нашло на Гумилева затмение от Господа».

Зато Гумилев, кажется, вторым номером гордился, он посылал (почему использован такой глагол станет ясно из цитаты) журнал В.Я. Брюсову, а затем интересовался: «Теперь, я надеюсь, Вы уже получили «Сириус». Если же нет, то напишите об этом одно слово, я высылаю его в т р е т и й р а з и начинаю ссору с почтой. Если будет время и желание, напишите несколько слов, как Вы нашли мою прозу. Вам я открою инкогнито: Анатолий Грант – это я. Что же мне было делать, если у нас совсем нет подходящих сотрудников. Приходится хитрить, и истина об Анат. Гранте – тайна даже для моих компаньонов. Я очень огорчен нашей художественной критикой, но увы, я не свободен. Меня с моими компаньонами связывают прежде всего денежные счеты».

Третий номер вышел в феврале, после чего журнал «Сириус» прекратил свое существование. В том вина, конечно, не Гумилева. Виною тому обстоятельства: художественный журнал, пусть совсем небольшой, с репродукциями на отдельных листах, как сулило рекламное объявление, издавать накладно, а у Гумилева и его знакомых лишних денег не имелось. Уже и три вышедших номера свидетельствовали о некоторой эйфории, царившей среди русских обитателей Парижа.

Мемуарист вспоминает, а лет прошло достатком, и кое-что он мог позабыть, а кое-что и преувеличить (приврал же насчет африканского путешествия), руководствуясь столь распространенной среди выходцев из Одессы привычкой из каждого, самого небольшого случая создавать, по меньшей мере, анекдот, что времена были еще вполне боевые. И если в России наступило некое послереволюционное «похмелье», то русские в Париже пылали запоздалым жаром свободы. На вечерах читались стихи, пусть и не слишком поэтичные, зато не в меру революционные, однако не на всех: «…были и другие вечера, более консервативные. На одном из них одна высокопоставленная дама читала «стихи поэта Гумилева», где, помню, рифмовались «кольца» и «колокольца». Гумилев только недавно начал писать. Я читал там свои «Парижские сонеты», и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:

Лютеция молчала, как и ныне,
И факелы чудовищные жгла.

Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал.

Он успел уже побывать в Африке, и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: у меня тоже нет денег, а я вот путешествую.

Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, где были помещены мои стихи».

Встретиться поэт А. Биск, автор этих воспоминаний, и Гумилев могли на приемах, устраиваемых по четвергам художницей Е.С. Кругликовой. На приемах этих бывали жившие в Париже, либо приезжавшие туда русские литераторы, и среди них М. Волошин, Н. Минский, К. Бальмонт, А. Амфитеатров.

Продолжается и переписка Гумилева с В.Я. Брюсовым. Мэтру на ознакомление был отослан номер журнала, писем его Гумилев ждет, с благодарностью принимает советы, при-

слушивается к пожеланиям. Отношения, когда один вступает в роли строгого учителя, а другой в роли благодарного ученика, постепенно, пусть и не слишком заметно, превращаются во взаимоотношения двух поэтов – маститого и молодого, но знающего себе цену. Впрочем, Гумилев этого еще не осознает: «Многоуважаемый Валерий Яковлевич! Только вчера я получил Ваше большое и милое письмо, где Вы разбираете мои стихотворения. Тысячу раз благодарю Вас за него: благодаря ему мои горизонты начинают проясняться и я начинаю понимать, что мне надо делать, чтобы стать поэтом. Вы, наверное, не можете представить, сколько пользы принесло оно мне. Я в последнее время сильно отвлекся от поэзии заботами о выработке прозаического стиля, занятиями по оккультизму и размышлениями о нем. Но Ваше письмо пробудило меня. Я поверил, что если я мыслю образами, то эти образы имеют некоторую ценность, и теперь все мои логические построения начинают облекаться в одежду форм, а доказательства превращаются в размеры и рифмы. Одно меня мучает, и сильно, – это мое несовершенство в технике стиха. Меня мало утешает, что мне только 21 год, и очень обескураживает, что я не могу прочитать себе ни одно из моих стихотворений с таким же удовольствием, как напр. Ваши «Ахилл у алтаря», «Маргерит» и др. или «Песню Офелии» Ал. Блока. Не радует меня также, что и у больших поэтов есть промахи, свойственные мне. Я не сравниваю моих вещей с чужими (может быть, во вред мне), я просто мечтаю и хочу уметь писать стихи, каждая строчка которых заставляет бледнеть щеки и гореть глаза…»

Гумилев покинул Париж в конце апреля 1907 года. Ему надлежало возвращаться в Россию, поскольку следовало решить вопрос о воинской повинности. Но сначала Гумилев отправляется в Киев, чтобы увидеть Анну Горенко.

Подруга Ахматовой с давних лет В. Срезневская рассказывает в мемуарах, что в киевский период они могли поддерживать связь только посредством переписки, однако доверительность в отношениях подруг не исчезла: «Аня никогда не писала о любви к Гумилеву, но часто упоминала о его настойчивой привязанности, о неоднократных предложениях брака и своих легкомысленных отказах и равнодушии к этим проектам. В Киеве у нее были родственные связи, кузина, вышедшая замуж за Аниного старшего брата Андрея. Она, кажется, не скучала. Николай Степанович приезжал в Киев».

Из Киева Гумилев едет в Царское Село, однако заезжает по дороге в Москву, чтобы увидеться с В.Я. Брюсовым. До этого они никогда не видели друг друга, теперь знакомятся лично. Свидетельство о том, какое впечатление произвел Гумилев на мэтра, сохранилось: «Приезжал в Москву Н. Гумилев. Одет довольно изящно, но неприятное впечатление производят гнилые зубы. Часто упоминает «о свете». Сидел у меня в «Скорпионе», потом я был у него в какой-то скверной гостинице, близ вокзалов. Говорили о поэзии и оккультизме. Сведений у него мало. Видимо, он находится в своем декадентском периоде. Напомнил мне меня 1895 года».

Разговор был долгим. Встреча дальнейших отношений не разладила. Напротив, в письме Гумилева звучат восторженные ноты: «Если бы мы писали до Р.Х., я бы сказал Вам: Учитель, поделись со мной мудростью, дарованной тебе богами, которую ты не имеешь права скрывать от учеников. В средние века я сказал бы: Maitre, научи меня дивному искусству песнопенья, которым ты владеешь в таком совершенстве. Теперь я могу сказать только: Валерий Яковлевич, не прекращайте переписки со мной, мне тяжело думать, что Вы на меня сердитесь…»

Перед тем как отправиться обратно в Париж, Гумилев едет в Севастополь. Там проводит лето Анна Горенко.

П. Лукницкий, собиравший материалы про Гумилева, записывает после встречи с А. Ахматовой (разговор касался севастопольского периода): «АА рассказывала, что на даче у Шмидта у нее была свинка и лицо ее было до глаз закрыто – чтоб не видно было страшной

опухоли… Николай Степанович просил ее открыть лицо, говоря: «Тогда я вас разлюблю!» Анна Андреевна открывала лицо, показывала. «Но он не переставал любить меня! Говорил только, что «вы похожи на Екатерину II».

На даче Шмидта были разговоры, из которых Гумилеву стало ясно, что АА не невинна. Эта новость, боль от этого известия, довела Николая Степановича до попыток самоубийства».

Написанные тогда же в Севастополе и утраченные впоследствии стихи, кроме прочего, включали и стихотворение «Доктор Эфир». Можно предположить, что более поздний рассказ «Путешествие в страну эфира» являлся вариацией на ту же самую тему.

В рассказе этом действуют герои, среди которых доктор, призывающий нюхать эфир, а также Мезенцов, девушка Инна и Грант. Рассказ банальный, ровным счетом ничем не отличающийся от убогих фантазий, помещенных в дореволюционном журнале «Мир приключений», впрочем, послереволюционный его тезка, альманах с тем же названием был полон таких сочинений, лишенных действия, с выдуманным – не сюжетом, а завязкой, исходной сценой, и картонными, так что, кажется, скрипят, персонажами с короткими, никогда не встречающимися в жизни фамилиями (даже если это фамилии Смит, Иванов, Миллер).

Но дело сейчас не в том. Нас интересует сюжет, который сводится к следующему. Доктор, явившийся, чтобы вывести из истерики героиню, дает ей понюхать эфир, а потом едва ли не воспевает его необычайные свойства, дающие возможность преодолеть пространства и время. Герои наконец решаются проверить, правду ли говорил доктор, тогда как Инне не терпится опять почувствовать действие наркотика.

В.Я. Брюсов. Фотография, 1900-е гг.

Анна Ахматова. 1910-е гг.

Грант (мы помним, что этим псевдонимом подписывался Гумилев, публикуя во втором номере журнала «Сириус» свою прозу) чувствует воздействие эфира на себе: «Закрыв глаза, испытывая невыразимое томленье, я пролетел уже миллионы миль, но странно пролетел их внутрь себя. Та бесконечность, которая прежде окружала меня, отошла, потемнела, а взамен ее открылась другая, сияющая во мне. Нарушено постылое равновесие центробежной и центростремительной силы духа, и как жаворонок, сложив крылья, падает на землю, так золотая точка сознания падает вглубь и вглубь, и нет падению конца, и конец невозможен. Открываются неведомые страны. Словно китайские тени, проплывают силуэты, на земле их назвали бы единорогами, храмами и травами. Порою, когда от сладкого удушья спирается дух, мягкий толчок опрокидывает меня на спину, и я мерно качаюсь на зеленых и красных волокнистых облаках. Дивные такие облака! Надо мной они, подо мной, и густые, и пространства видишь сквозь них, белые, белые пространства. Снова нарастает удушье, снова толчок, но теперь уже паришь безмерно ниже, ближе к сияющему центру. Облака меняют очертания, взвиваются, как одежда танцующих, это безумие красных и зеленых облаков.

Море вокруг, рыжее, плещущее яро. На гребнях волн синяя пена; не в ней ли доктор запачкал свои руки и пиджак?

Я поплыл на запад. Кругом плескались дельфины, чайки резали крыльями волну, а меня захлестывала горькая вода, и я был готов потерять сознание. Наконец, захлебнувшись, я почувствовал, что у меня идет носом кровь, и это меня освежило. Но кровь была синяя, как пена в этом море, и я опять вспомнил доктора.

Огромный вал выплеснул меня на серебряный песок, и я догадался, что это острова Совершенного Счастья. Их было пять. Как отдыхающие верблюды, лежали они посреди моря, и я угадывал длинные шеи, маленькие головки и характерный изгиб задних ног. Я пробегал под пышно-веерными пальмами, подбрасывал раковины, смеялся. Казалось, что так было всегда и всегда будет. Но я понял, что будет совсем другое, миновав один поворот».

В этом чудесном мире Грант встречает Инну и овладевает ею, а когда чары эфира рассеиваются, то по едва заметным деталям удивленные Грант и Мезенцов догадываются, что Инна, несомненно, стала женщиной. Иными словами, чудо произошло.

И картины эфирного опьянения, и способ приема эфира описаны человеком, который имеет опыт в этой области. «Приложите одну ноздрю к горлышку и вдыхайте ею, а другую зажмите. Кроме того, не дышите ртом, надо, чтобы в легкие попадал один эфир», – поясняет Грант.

Из всего это следует, что предположение литературоведов, будто рассказ связан с поездкой Гумилева в июле 1914 года к Татиане Адамович, с которой у него был роман, вряд ли состоятельно. Или, точнее, рассказ как-то и может быть связан с этой поездкой и с тем, что Адамович употребляла эфир, но связь эта лишь внешняя.

Общение с любимой, страшное разочарование в ней, отказ на предложение стать его женой, первое в жизни морское плавание (Гумилев плывет из Севастополя на пароходе в Марсель) – все это переполняет эмоциями.

Отчаяние, связанное с тем, что он услышал в Севастополе, было необычайно. Гумилев оказался не в силах справиться с ним и решил кончить жизнь самоубийством. Приехав в Нормандию, он направляется к морю, чтобы утопиться. Но, к счастью, полицейские обратили внимание на молодого человека, который был явно не в себе. Покончить счеты с жизнью ему не дали. Гумилев вернулся в Париж.

Были в это время и встречи с товарищами, и новые знакомства. Так познакомился он с начинающей поэтессой Е. Дмитриевой, которая впоследствии, через несколько лет, станет одним из действующих лиц в мистификации, связанной с именем Черубины де Габриак. Поэтесса вспоминала: «В первый раз я увидела Н. С. в июле 1907 года в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледное, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал небольшую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н. С. читал стихи (из «Романтических цветов»). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик, Н. С. купил для меня такой букет, а уже поздно ночью мы все втроем ходили вокруг Люксембургского сада, и Н. С. говорил о Пресвятой Деве. Вот и все. Больше я его не видела. Но запомнила, запомнил и он».

Гумилев, несомненно, делал большие успехи. Стихи его, звучные и чеканные, прекрасно звучали, когда их читали вслух.

Сады моей души всегда узорны,
В них ветры так свежи и тиховейны,
В них золотой песок и мрамор черный,
Глубокие, прозрачные бассейны.

Растенья в них, как сны, необычайны,
Как воды утром, розовеют птицы,
И (кто поймет намек старинной тайны?)
В них девушка в венке великой жрицы.

Глаза, как отблеск чистой серой стали,
Изящный лоб, белей восточных лилий,
Уста, что никого не целовали
И никогда ни с кем не говорили.

И щеки, розоватый жемчуг юга,
Сокровище немыслимых фантазий,
И руки, что ласкали лишь друг друга,
Сплетаясь в молитвенном экстазе.

У ног ее две черные пантеры
С отливами змеиными на шкуре,
Взлетев от роз таинственной пещеры,
Ее фламинго плавает в лазури.

Я не смотрю на мир бегущих линий,
Мои мечты лишь вечному покорны,
Пускай сирокко бесится в пустыне,
Сады моей души всегда узорны.

По совету В.Я. Брюсова, Гумилев наконец решает познакомиться с французским поэтом Рене Гилем. И знакомство оказалось приятным, о чем сообщается в письме к В.Я. Брюсову: «Сегодня был у Гиля, и он мне понравился без всяких оговорок. Это энергичный, насмешливый, очень тактичный и действительно очень умный человек… Со мной он был крайне приветлив и с каким-то особенным оттенком дружеской фамильярности, что сразу сделало нашу беседу непринужденной. Вообще, я был совершенно не прав, когда боялся к нему идти, и теперь знаю, что французские знаменитости много общительнее русских (Вы знаете, о ком я говорю)».

Обида на Д. Мережковского и З. Гиппиус, которые оскорбительно вели себя, когда Гумилев нанес им визит, не забылась. Роль А. Белого в этой истории не совсем ясна. Впоследствии в мемуарах он утверждал, что присутствовал при этой встрече, но решительно был не при чем. З. Гиппиус утверждала обратное, дескать, именно А. Белый издевался над молодым поэтом, решившим познакомиться со своими старшими собратьями.

Зато русские в Париже оказались куда общительнее и добросердечнее, нежели на родине. Кроме М. Фармаковского и В. Курбатова, историка искусств, был Гумилев дружен с поэтом Н. Деникером. Когда же приехал из России Андрей Горенко и поселился у Гумилева, он и вовсе не чувствовал одиночества.

И тем не менее он скучал вдалеке от родных и близких. По рассказам А. Ахматовой, которая знала это со слов Гумилева, он даже ездил через весь город, чтобы только прочитать слова «Севастопольский бульвар», написанные по-французски на указателе.

Постоянное общение с Андреем Горенко, разговоры, воспоминания, сделали, в конце концов, свое дело. Окрыленный какой-то странной надеждой – вдруг Анна после стольких отказов ответит на его предложение согласием – Гумилев берет деньги в долг у ростовщика

(своих, разумеется, не имелось) и едет в Россию. А потом, охваченный еще большим отчаянием, возвращается. Анна опять ему отказала. О поездке его родители так тогда и не узнали, Гумилев не заехал ни в Царское Село, ни в Петербург.

Многие стихи, вошедшие в сборник «Романтические цветы», несмотря на всю их цветистую историческую бутафорию, можно прочитать и как трагические признания, только облаченные в красочные одежды. Это не сцены из древней истории, слишком стихи эти автобиографичны.

Царица – иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий, казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.

Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины.
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.

Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»…
Царица – иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

Нетрудно догадаться, что за царица, похожая на капризного ребенка, вспомнилась поэту, и на берегу какого моря происходили события.

Все чаще посещает Гумилева мысль о смерти, все чаще делается она героиней его стихов.

Нежной, бледной, в пепельной одежде
Ты явилась с ласкою очей,
Не такой тебя встречал я прежде
В трубном вое, в бешенстве мечей.

Ты казалась золотисто-пьяной,
Обнажив сверкающую грудь,
Ты среди кровавого тумана
К небесам прорезывала путь.

Как у вечно жаждущей Астреи,
Твои очи были глубоки,
И неслась по жилам кровь быстрее,
И крепчали мускулы руки.

Но тебя, хоть ты теперь иная,
Я мечтою прежней узнаю,
Ты меня манила песней рая
И с тобой мы встретимся в раю.

Андрей Горенко. Фотография, 1900-е гг.

А.Н. Толстой вспоминает рассказ Гумилева, слышанный, по его словам, за столиком в одном из парижских кафе: «…они шли мимо меня, все в белом, с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них – мне было покойно, я думал: «Так вот она, смерть». Потом я стал думать: «А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет»… Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, – белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко.

Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была слабость и тошнота. С трудом наконец я приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу в траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук. Все вокруг – деревья, мансардные крыши, асфальтовые дороги, небо, облака – казались мне жесткими, пыльными, тошнотворными. Опираясь о землю, чтобы подняться совсем, я ощупал маленький, с широким горлышком пузырек, – он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал из пузырька на ладонь яд. Я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, – мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда.

Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того, здесь была одна девушка…»

Гостиницу, одиночество, страх смерти мемуарист, думается, присочинил, памятуя о поздних повестях своего прославленного однофамильца. Остальное отчасти похоже на правду. Выразителен и нарисованный всего в нескольких строках портрет Гумилева: «Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Длинные пальцы его рук лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой».

А.Н. Толстому, в принципе, можно верить. От простого знакомства – в письме к В.Я. Брюсову обрисован этот новый знакомый крайне иронически: пишет стихи год, а то и без году неделя, но считает себя мэтром, стихи, между тем, ниже всяких оценок – отношения постепенно переходят к дружбе или хорошему товариществу, а потому в письме к тому же адресату Гумилев сообщает: «Скоро наверное в Москву приедет поэт гр. Толстой, о котором я Вам писал. За последнее время мы с ним сошлись, несмотря на разницу наших взглядов, и его последние стихи мне очень нравятся».

Вот только подробности нарисованной сцены смущают. Едва ли можно выжить после приема цианистого калия. Скорее, прав Э. Голлербах, который пишет, что при второй попытке самоубийства Гумилев вскрыл себе вены.

Анна Ахматова. 1910-е гг.

Или, как действительное, Гумилев пересказывал знакомому сюжет упоминавшегося уже рассказа об эфирных видениях? Белые фигуры, пустой пузырек в руке героя этой истории, кто бы им ни был, Гумилев или Грант, наводят на мысль о наркотических галлюцинациях.

И все-таки очевидно – вновь Гумилев пытался покончить с собой, вновь остался жив.

Ему было рано умирать. Переводчик В. Шилейко вспоминал много позднее: «Николай Степанович почему-то думал, что он умрет непременно 53 лет. Я возражал, что поэты рано умирают, или уж глубокими стариками (Тютчев, Вяземский). И тогда Николай Степанович любил общую мысль нашу развивать, что смерть нужно заработать и что природа скорее из человека выжмет все соки, и выжав – выбросит. И Николай Степанович этих соков чувствовал в себе на 53 года. Он особенно любил об этом говорить во время войны. «Меня не убьют, я еще нужен». Очень часто к этому возвращался. Очень характерна его фраза: «На земле я никакого страха не боюсь, от всякого ужаса можно уйти в смерть, а вот по смерти очень испугаться страшно».

Но какие бы кризисы ни переживал Гумилев, он не переставал писать стихи. Интересуется он и смежными искусствами – все, кроме, разве, музыки Гумилев любил. Да и равнодушие к музыке, по догадке С. Маковского, было напускное, в подражание Теофилю Готье, которым он безмерно восхищался.

О своих занятиях Гумилев сообщает в письмах, адресованных В.Я. Брюсову: «За последнее время я много занимался теорией живописи, а отчасти и театра, читал, посещал выставки и говорил с артистами. Результаты Вы можете видеть в моем письме о «Русской Выставке». Если оно Вас удовлетворяет, может быть, вы сможете мне указать какой-нибудь орган, хотя бы «Раннее Утро», где я мог бы писать постоянные корреспонденции о парижских выставках и театрах. Этим Вы оказали бы мне еще раз большую услугу…»

Мэтр не только в очередной раз помог Гумилеву, он сделал ему царский подарок – статья о выставке с подзаголовком «Письмо из Парижа» увидела свет в № 11 журнала «Весы» за 1907 год.

На взгляд человека искушенного, вкус начинающего рецензента совсем небезупречен, А.Г. Габричевский с плохо скрытым пренебрежением называл манеру Н. Рериха «финским модернизмом», но интересно то, что в сюжетах выставленных картин, в творческих поисках художников Гумилев видит нечто родственное своим собственным взглядам, сходные сюжеты обнаружатся через несколько лет в его стихах: «Из больших картин Рериха наиболее интересна изображающая «Народ курганов», где на фоне северного закатного неба и чернеющих елей застыло сидят некрасивые коренастые люди в звериных шкурах; широкие носы, торчащие скулы – очевидно, финны, Белоглазая Чудь. Эта картина параллельна другой, бывшей в Salon d'Automne. Там тоже северный пейзаж, но уже восход солнца, и вместо финнов – славяне. Великая сказка истории, смена двух рас, рассказана Рерихом так же просто и задумчиво, как она совершилась, давно-давно, среди жалобно шелестящих болотных трав.

В. Шилейко. Фотография, 1920-е гг.

«Песня о викинге» – вещь изысканная по благородству красок, серых, синей и бледно-оранжевой: от сбегающего вечера еще суровее старые стены дедовского дома; белокурая грустная девушка поет о ком-то далеком, а пред нею, среди сверкающего облака, в яростной схватке сшиблись две призрачные ладьи.

«Сокровище Ангелов» – камень с изображением дракона на одной стороне и распятого человека на другой. Это – вековое сопоставление добра и зла, и его ревниво охраняют толпы ангелов, прелестных ангелов XIII века монастырской России.

Интересна была мысль выставить рядом Рериха и Билибина, одного – как представителя скандинавских и отчасти византийских течений в русском искусстве, другого – как поборника течений восточных. Билибину удалось создать ряд вещей чарующих и нежных, les petites merveilles, как сказал один известный француз, говоря о его картинах. Наверно, такие же грезы смущали сон Афанасия Никитина, Божьего человека, когда, опираясь на посох, он шел по бесконечным степям к далекому и чудесному царству Индейскому. Былина о Вольге, это самое величественное произведение русского духа, нашла в Билибине чуткого ценителя и иллюстратора, передавшего всю ее своеобразную красоту. Кроме «Вольги» на

выставке есть его иллюстрации к «Золотому петушку», «Царю Салтану» и вещи, рисованные для «Золотого Руна».

Статья «Два салона», посвященная на сей раз, по преимуществу, мастерам иностранным, а также влиянию на современных художников творческой манеры Сезанна и Гогена, увидела свет в журнале «Весы» годом позже, снабженная примечанием: «Редакция помещает это письмо как любопытное свидетельство о взглядах, разделяемых некоторыми кружками молодежи, но не присоединяется к суждениям автора статьи». Примечание говорит само за себя.

С отъездом в Россию Андрея Горенко, кажется, Гумилев отчасти освободился от своих нравственных страданий. Теперь рядом не было человека, который, пусть и невольно, напоминал ему о пережитом поражении. Он общается с М. Фармаковским, посещает выступление японки Сада Якко, которая гастролировала в Европе и Америке вместе с труппой своего мужа, известного актера Отодзиро Каваками. Выступала артистка и в России, но впечатления Гумилева, столь сильные, что он посвятил выступлению Сада Якко сразу два стихотворения, связаны именно с парижскими гастролями.

Мы не ведаем распрей народов, повелительных ссор государей,
Я родился слагателем сказок, Вы – плясуньей, певицей, актрисой.
И в блистательном громе оркестра, в электрическом светлом пожаре
Я любил Ваш задумчивый остров, как он явлен был темной кулисой.

И пока Вы плясали и пели, поднимали кокетливо веер,
С каждым мигом во мне укреплялась золотая веселая вера,
Что созвучна мечта моя с Вашей, что Вам также пленителен север,
Что Вам нравятся яркие взоры в напряженных глубинах партера.

Показательно и восприятие экзотического, чуждого европейскому зрителю искусства в целом (интерес к ориентальному, в том числе, к японскому, был частью моды на все восточное, возникшей после русско-японской войны), и понимание условностей, на которых построено японское драматическое искусство (таково упоминание об острове, «явленном темной кулисой», ведь реалистическая манера игры для японского театра того периода абсолютно нехарактерна).

Второе стихотворение – это попытка описать увиденное, по возможности, подробнее.

В полутемном строгом зале
Пели скрипки, Вы плясали.
Группы бабочек и лилий
На шелку зеленоватом,
Как живые, говорили
С электрическим закатом,
И ложилась тень акаций
На полотна декораций.

Вы казались бонбоньеркой
На изящной этажерке,

И, как беленькие кошки,
Как играющие дети,
Ваши маленькие ножки
Трепетали на паркете,
И жуками золотыми
Нам сияло Ваше имя.

И когда Вы говорили,
Мы далекое любили,
Вы бросали в нас цветами
Незнакомого искусства,
Непонятными словами
Опьяняя наши чувства.
И мы верили, что солнце —
Только вымысел японца.

Сада Якко с мужем. Фотография, 1900-е гг.

Выступление Сада Якко. Фотография, 1900-е гг.

В немалой степени на Гумилева повлияло, кроме представления, и непосредственное общение с актрисой. Вместе с М. Фармаковским они побывали у нее с визитом.

Однако М. Фармаковский вскоре тоже покинул Францию. Теперь, оставшись едва ли не в одиночестве, Гумилев, тем не менее, не отчаивается, а напряженно работает. Он посещает естественнонаучные музеи и зверинцы, в том числе, передвижные. Его интересуют жизнь и нравы животных, Гумилев наблюдает за ними, иногда и по ночам, читает специальную литературу, например, книги А. Брэма. Гумилев начинает мечтать об Африке.

«В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом…» – знакомство с А.Н. Толстым, автором этих строк, приходится на год 1908. Но пока Гумилев интересуется больше не соотечественниками, а представителями стран далеких – неграми, малайцами, сиамцами, среди которых у него появились знакомые.

Характерно и то, что Гумилев, по воспоминаниям, сидя в кафе, не пил ни вина, ни пива, все, что он позволял себе – это гренадин, то есть ликер, сделанный на основе гранатового сока, и черный кофе. О свойствах этих напитков писал еще Папюс: «Алкоголь как возбудительное – одно из самых драгоценных и опасных средств. Действие его в виде водки быстрое, но не продолжительное. Под его влиянием освобождается большое количество нервной силы, а ум как бы освещается богатством и массой возрождающихся идей, сменяющих одна другую. В такую минуту нельзя думать о составлении какого-либо исследования и надо удовольствоваться отметкой отдельных мыслей!

Рюмка водки, выпитая за ½ часа до начала умственных занятий, увеличивает производительность ума, но на самое короткое время».

И далее о ликере: «Рядом с алкоголем надо упомянуть о сахаре, который примешивается к нему в ликерах. Их действие хотя слабее на нервные запасы, но зато они сильно действуют на волю, тогда как алкоголь влияет на чувственность. Ввиду этого следует предпочи-

тать ликер водке, когда предстоит действовать, а не размышлять». Отсюда понятно, почему Гумилев отдает предпочтение гренадину, а не прочим спиртным напиткам.

Кофе в «Практической магии» посвящен особый раздел, и свойства этого напитка, по мнению почтенного автора, в высшей степени полезны: «Кофе – самое сильное возбудительное в отношении продолжения действия. Он имеет два свойства: первое – через час после принятия он действует на нервное сплетение желудка и при содействии теплоты облегчает пищеварение, что представляет в распоряжение ума большее количество нервной силы; второй период действия начинается через два или три часа после приема кофе, когда он оказывает влияние на сферу интеллектуальную, и продолжительность этого действия зависит от количества выпитого кофе, влияние одной чашки кофе длится от одного до двух часов. Так что у выпившего кофе в час дня психическое действие обнаружится к 3-м часам и длится до 5 часов. Начиная с этого времени пустота желудка действует, в свою очередь, возбуждающе, умственная работа становится все легче, при условии не очень утомительных занятий: составление заметок, эскизов, планов, но писать сочинения и исполнять трудную умственную работу следует утром натощак или после легкого, несытного обеда. Есть еще и третье действие, производимое кофе на людей нервных: вслед за окончанием возбуждающего действия является тоска, это явление заслуживает описания.

Парижское кафе. Силуэт Е. Кругликовой, 1910-е гг.

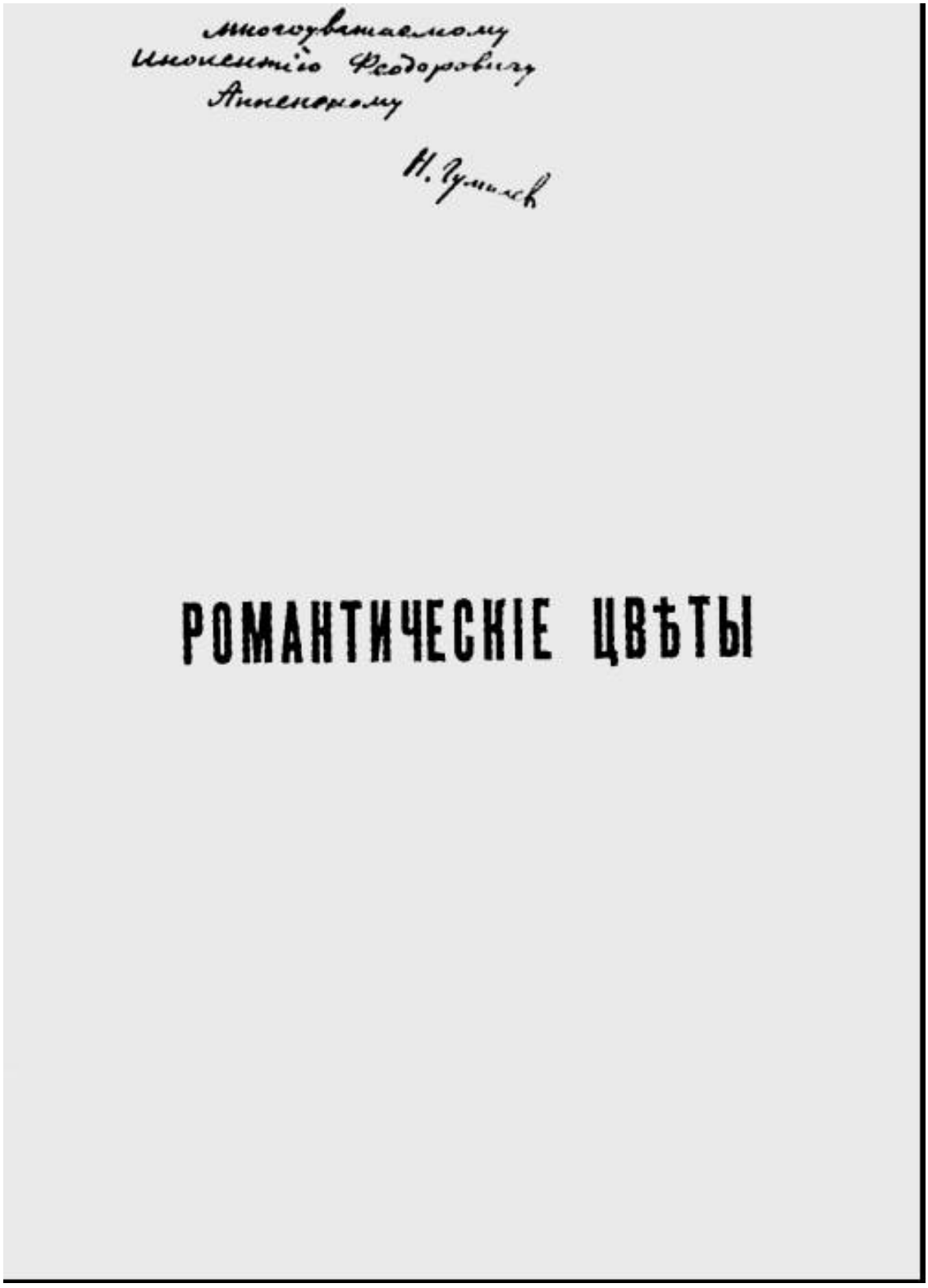
Кофе как возбудительное, предоставляет уму часть запаса нервной силы, помещающегося в ганглиозном сплетении. Сила и напряжение, получаемые организмом от кофе, предоставляют временный подъем духа в ущерб органического запаса; поэтому употребление кофе полезно лишь сильным, а не слабым или анемичным. У человека, находящегося в нормальном состоянии, когда кофе произведя свое интеллектуальное действие и оно было еще увеличено трудом, ощущение пустоты в нервных центрах проявляется в форме грусти и пессимизма, в течение 10—60 минут, которое уничтожается принятием какой-нибудь пищи.

Психическое действие кофе в общем сводится к усилению восприимчивости; поэтому кофе служит изучающему Магию средством для развития артистической восприимчивости. И действительно, дознано, что степень артистической впечатлительности зависит от нервного состояния, а мы знаем, что кофе его возбуждает».

Из всего вышеперечисленного можно заключить – каковы бы ни были вкусы Гумилева, предпочтения его определенно соотносятся с его интересами, в частности, с оккультными занятиями. И то верно, почему русский литератор не пьет крепких напитков или, на худой случай, пива, почему преклоняющийся перед французскими поэтами Гумилев, сидя

в парижском кафе, заказывает не абсент, воспетый Бодлером и Верленом, а кофе, пить который впору какому-нибудь Бальзаку? Все это достойно интереса.

Но вернемся к хронике событий. В самом начале 1908 года выходит сборник «Романтические цветы», сборник, которому предпослано посвящение Анне Андреевне Горенко.


многоуважаемому
Иннокентію Федоровичу
Анненскому

Н. Гумилев

РОМАНТИЧЕСКІЕ ЦВѢТЫ

Дарственная надпись И.Ф. Анненскому на книге «Романтические цветы»

Из сборника «Романтические цветы»

* * *

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил нездешние слова,
Перед ней, царицей беззаконий,
Расточил рубины волшебства.

Аромат сжигаемых растений
Открывал пространства без границ,
Где носились сумрачные тени,
То на рыб похожи, то на птиц.

Плакали невидимые струны,
Огненные плавали столбы,
Гордые военные трибуны
Опускали взоры, как рабы.

А царица, тайное тревожа,
Мировой играла крутизной,
И ее атласистая кожа
Опьяняла снежной белизной.

Отданный во власть ее причуде,
Юный маг забыл про все вокруг,
Он смотрел на маленькие груди,
На браслеты вытянутых рук.

Юный маг в пурпуровом хитоне
Говорил, как мертвый, не дыша,
Отдал все царице беззаконий,
Чем была жива его душа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.